

**БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЦЕНТР ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ**

Теоретические вопросы образования

Хрестоматия

Часть 3

КРИТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА

**МИНСК
БГУ
2016**

УДК 378

С о с т а в и т е л и :

А. А. Полонников, Н. Д. Корчалова

Научный редактор Н. Д. Корчалова
Вступительная статья и перевод с польского
А. А. Полонникова

Р е ц е н з е н т ы :

кафедра общей и социальной психологии УО «Гродненский
государственный университет имени Янки Купалы»
(зав. кафедрой кандидат
психологических наук *А. М. Колышко*);
доктор психологических наук *Я. Л. Коломинский*

Теоретические вопросы образования [Электронный ресурс] :
хрестоматия. Ч. 3. Критическая педагогика / сост. : А. А. Полон-
ников, Н. Д. Корчалова. – Минск : БГУ, 2016.

ISBN 978-985-566-331-8.

Издание продолжает серию публикаций переводов известных ис-
следователей в области образования. В третьей части представлены
работы польских ученых, чьи усилия направлены на решение ши-
рокого круга вопросов эдукологии.

УДК 378

ISBN 978-985-566-331-8

© БГУ, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

От составителей.....	4
Образовательный семиозис (от переводчика)	
<i>Александр Полонников</i>	6
Культура, идентичность и образование: мерцание значений	
<i>Мелосик Збышко, Шкудлярек Томаш</i>	15
Индивид и общество в современном медиальном пейзаже: к теории интермедиального образования	
<i>Шкудлярек Томаш</i>	159
Проблемы современной аудиовизуальной культуры. Медиа в контексте образования	
<i>Шперналовски Томаш</i>	238
Педагогика постмодерна: рамки дискурса	
<i>Шкудлярек Томаш</i>	279
Критический анализ дискурса: теоретическо-методологическая рефлексия	
<i>Яблоньска Барбара</i>	313
Становление преподавателя. Интеракционистско-символический анализ	
<i>Лукаш Мартиняк</i>	333
Нарратив в школе	
<i>Клус-Станьска Дорота</i>	392
Концепция нарративной идентичности: от истории жизни до диалогического «я»	
<i>Стемплевска-Жакович Катажина</i>	438

КОНЦЕПЦИЯ НАРРАТИВНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ: ОТ ИСТОРИИ ЖИЗНИ ДО ДИАЛОГИЧЕСКОГО «Я»¹⁰⁴

Стемплевска-Жакович Катажина

Хотя нарративные исследования относительно молоды, они успели совершить ту же эволюцию идей, касающихся идентичности, которую в общей психологии можно было наблюдать во второй половине прошлого столетия (por. Markus, Wurf [58]). Под влиянием познавательного поворота семидесятых, теории, представляющие «я» как единую структуру, содержащую целостность знаний индивида о себе (np. Rogers [73], а в Польше Koziński [46]), хотя и вдохновлялись многими взглядами, тем не менее постепенно начали уступать место теоретическим позициям, базирующимся на понятии познавательной схемы и представляющих «я» как неупорядоченную структуру (np. Markus [57], Epstein [18]). Эти концепции, где в отношении «я» используется термин «схема» во множественном числе и вводятся оригинальные понятия в виде возможных «я» (*possible selves*, Markus, Nurius [55]), постепенно были освоены психологами и теперь все чаще в разных теоретических направлениях звучит мысль о том, что индивид создает много разных «я», каждое из которых частично, ситуативно и не претендует на роль единственного, центрального регулятора его поведения (por. Rowan, Cooper [74]).

Подобная эволюция идей обнаруживает себя и в нарративном подходе. Внимание психологов к целостной истории жизни (*life-story*) данной личности [7; 59] на изломе восьмидесятых и девяностых годов ослабло, и теперь многие начали исследовать автонарративы, касающиеся специфических видов опыта и жизненных событий, например, женитьбы партнеров (Veroff za Riessman [72]), беременности [82], развода [70], специфических проблем здоровья [71] или условий реализации политической активности женщин [4; 24]. Появились также общие концепции «неупорядоченной» нарративной

¹⁰⁴ *Stemplewska-Żakowicz K. Konceptje narracyjnej tożsamości. Od historii życia do dialogowego „ja” // Narracja jako sposób rozumienia świata / red. J. Trzebiński. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002. S. 82–113.*

Перевод с польского А. А. Полонникова.

идентичности, описывающие множественность автонарративов, и, следовательно, множественность их героев как возможных образов себя одной и той же личности (например, концепция разных *image McAdams(a)*). Как и в основном течении психологии (por. Greenwald, Pratkanis, Jarymowicz [27; 41; 42]), в область интересов исследователей идентичности возвратилось классическое различие «я»-предметного и «я»-субъектного, которые в нарративном подходе стали интерпретироваться как различие, соответственно, героя истории и рассказчика данной истории [53; 60; 38]. Тренд к «децентрализации структуры «я»» развился в нарративном подходе далее, охватывая не только идею множественности «я»-предметных (что выражалось в существовании множества героев разных автонарративов), но и «я»-субъектных, понимаемых в качестве рассказчиков конкретных историй. Видение «я» как интеракции различных внутренних голосов, каждый из которых владеет собственной, отличной от остальных перспективой восприятия (часто тех же самых) событий в жизни личности, называется диалогическим «я» [38].

Изложенная выше эволюция идеи связана с использованием помимо парадигмы познавательного конструкционизма, доминирующего в настоящее время в психологии¹⁰⁵, положений социального конструкционизма [5; 22], предлагающего единственное в своем роде представление о связи того, что является личным, и что социальным. Другой важный шаг в нарративном подходе инициирован теми исследователями, которые стали анализировать нарратив как дискурс, принимая все его методологические (например, рассмотрение процесса совместного создания нарратива участниками интеракции) и теоретические следствия (например, рассмотрение роли социального контекста, как локального, так и глобального). Идентичность в этом случае организована скорее как процесс, чем структура, причем особый акцент ставится на ее изменяемости, ситуативной укорененности в текущей интеракции. Оригинальные теоретические положения выдвинули представители так называемой дискурсивной психологии, соединившие в своих теориях элементы как познавательного, так и социального конструкционизма, и, кроме того, нашедшие для своих построений

¹⁰⁵ Это теоретическое течение, исторически связанное с философией И. Канта, а в психологии – с психологией Дж. Келли, в настоящее время интенсивно развивается в Польше (por. Kofta, Doliński [43]).

широкие контексты в гуманитарных науках: от работ Выготского [91; 92] и Бахтина [1; 2] до социальной феноменологии, франкфуртской школы и новейших концепций, причисляемых к парадигме постструктурализма и постмодернизма.

В данном разделе будет предпринята попытка более тщательно рассмотреть идей, делающих акцент на концепции относительно менее известной, а именно на социально-конструкционистском и дискурсивном подходе. Во вступлении мы кратко представим нарративное понимание идентичности, основывающееся на общих положениях познавательного конструкционизма. Далее постараемся показать, что нового привносит в эти положения и в мышление об идентичности анализ дискурса и течение, отмеченное как социальный конструкционизм, и, наконец, задержимся дольше на дискурсивном подходе в психологии и в особенности на акцентированном в нем понятии диалога и вытекающем из этого понятия видении диалогического «я». В целом в данном разделе мы постараемся соотнести представляемые концепции с их практическим использованием, поскольку значительная их часть создавалась с целью оказания помощи людям и оформилась к настоящему времени в специфическое течение в психотерапии и психологическом консультировании, известное как нарративная терапия.

3.1. НАРРАТИВ КАК ФОРМА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЗНАНИЯ: КОНСТРУКЦИОНИСТСКО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД

3.1.1. НАРРАТИВНОЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ОПЫТОВ

Среди различных познавательных схем, организующих человеческое восприятие, есть также и нарративные схемы. Это убедительно продемонстрировал бельгийский психолог Michotte [63] вскоре после того, как Barlett [3] убедил психологов в существовании схем как таковых. Michotte экспонировал испытуемымдвигающиеся геометрические фигуры и получал (при определенных конфигурациях движения) определенные описания, в которых спонтанно были использованы нарративные категории (например, говорилось, что одна из фигур «убежала», потому что «испугала их» вторая). Представители нарративного подхода [11; 38; 76] в этом и ему подобных исследованиях обнаруживают предпосылки для вывода о том, что люди стремятся придавать значение даже ничего не значащим

«событиям», касающимся, например, геометрических фигур, и делают это спонтанно, употребляя нарративные категории, рассказы о причинно-следственных отношениях, интенциях, поступках.

Как показано в многочисленных исследованиях (напр., [85]), нарративные схемы, т. е. схемы, имеющие структуру рассказа о действительных событиях, а также о поступках, интенциях и чувствах их участников, являясь основной формой репрезентации людьми знаний о событиях и субъектах общественной жизни, оказывают влияние на способ запоминания, понимания и использования этого знания в собственном поведении. Кроме того, в отношении к собственным опытам нарративное упорядочивание обнаруживается как универсальное человеческое стремление и даже потребность. Чаще всего это наблюдается в случаях понимания себя людьми с травматическими переживаниями. Как убедительно показали исследования Pennebaker(a) и его сотрудников [67; 68], описание пережитых травматических событий имеет многообразные позитивные следствия для процесса психологической помощи самому себе и даже для здоровья, измеряемого такими «твердыми» показателями, как давление крови и характеристики иммунологических субстанций. Отмечено при этом, что позитивные следствия были тем больше, чем более развитой в своей нарративной форме было отношение к болезненным переживаниям. По завершению исследований его участники сообщали, что создание рассказа с выразительным началом, серединой и окончанием помогло им упорядочить переживания и посмотреть на них из новой перспективы. Комментируя это, Pennebaker предлагает метафору «травматического узла» для определения формы, в которой первоначально представлено в памяти травмирующее переживание: фрагментарность образа, тесная связь слова и чувства, недоступность для систематического рассмотрения и рефлексии [32]. При этом, однако, рассказ в общем виде дан личности до проработки последовательных эпизодов и до организации своих воспоминаний в линейную структуру нарратива, что, по мнению Pennebaker(a), является началом распутывания травматического «узла». Результаты, полученные Pennebaker(ом), корреспондируют с выводами Judith Herman, связанными с процессом поворота к равновесию у жертв насилия [35]. Важным его элементом является уровневая и многоэтапная проработка развитого нарратива по поводу травматического происшествия, что позволяет им отнестись

к пережитому заложению субъектным образом и включить его в ресурс памяти наряду с другими воспоминаниями. Нарратив делает возможным создать (или перестроить) чувство самотождественности, изначально сильно деформированное или прямо разрушенное травматическим событием.

К подобным выводам подталкивают и наблюдения психотерапевтов, прибегающих к нарративным техникам. Например, Cohen просил клиентов, чтобы они описали свои чувства во время рекомендованного им в рамках терапии чтения разных нарративных и ненарративных материалов [61]. Клиенты единодушно отмечали, что большую пользу им принесло чтение конкретных историй. Временами пациенты узнавали себя в героях тех рассказов, прослеживая их трудные судьбы и сочувствуя им в борьбе, они переживали чувство собственной ценности, положительного отношения к самому себе, а также веры в свои будущие возможности. Каким же образом нарратив может оказывать такое благотворное влияние на чувство самотождественности? Познавательный конструкционизм отвечает, что создание или слушание истории – это поверхностный аспект глубинных процессов, содержащихся в познавательных структурах, основывающихся на придании нарративной формы содержанию собственного опыта. Уже само такое структурирование предоставляет лучшую, в сравнении с неструктурированным либо ненарративно структурированным содержанием, возможность наделения этих содержаний субъективным значением и соединения их с личным и социальным знанием индивида, а также с его поведением. Интересны также и разные следствия, свойственные, в частности, нарративному структурированию. Более обстоятельного прояснения требует и концепция автонарративных схем.

3.1.2. АУТОНАРРАТИВНЫЕ СХЕМЫ

Jerzy Trzebiński пишет, что «естественной формой мышления по поводу самого себя, а также процессов принятия решения является конструирование автонарратива – фабулы, представляющей определенную организованную историю, в которой действует собственная личность. Можно, следовательно, принять то, что значительная часть знания о себе имеет вид схем построения автонарратива. Автонарративную схему можно сравнить со сценарием, который играет роль конкретной фабулы, зависимой от контекста» [85, с. 90].

Разные конкретные черты автонарративной схемы могут отвечать за определенные способы мышления о себе и согласованное с этим мышлением поведение. Существенно и то (как показали исследования Trzebińskiego, см. второй раздел этой книги), что черты автонарративной схемы, т. е. степень артикуляции разных ее элементов (например, репрезентации собственных целей или представление способов практического действия для достижения этих целей), распространяются в отношении индивида на регулятивную функцию схем (например, могут способствовать большей точности действия, повышать коммуникативную компетентность либо противостоять склонности к депрессии). Использование автонарративной схемы через преобразование определенной части знания способствует лучшему функционированию индивида в конкретной области. Например, абитуриенты, которые создавали выразительные мыслительные сценарии своей подготовки к вступительным экзаменам, связанные с самим актом сдачи экзамена, чаще были успешными в этом важном жизненном испытании, чем кандидаты, не создававшие автонарративов на эту тему [86].

На основе сравнения концепции Trzebińskiego и ранее цитированных результатов других ученых можно сказать, что уже само создание связного нарратива на тему собственных переживаний означает конструирование такой его репрезентации, которая осуществляет связывание этих переживаний с «я» и обеспечивает содержательное субъектное отношение с ними способом, свойственным конкретному индивиду. В этой репрезентации при посредничестве используемой автонарративной схемы сохраняются существенные особенности общего субъектного стиля отношения данной личности с собой. Иными словами, создание автонарратива, касающегося определенного события, означает утверждение новых субъектных способов самоотношения, содержащихся в автонарративной схеме в конкретной ситуации, с которой индивид имеет актуальную связь.

Чтение и слушание нарратива на тему переживаний других лиц может инициировать процесс нарративного структурирования собственных аналогичных переживаний и/или стремление к альтернативным образцам структурирования, иногда прямо влияющим модифицирующим образом на автонарративную схему там, где она оказалась дисфункциональна. Так нарратив может стать причиной изменений.

Дисфункциональные автонарративные схемы могут привести к появлению или углублению специфичных проблем и симптомов.

Как пишет Bruner, «способы повествования и сопутствующие им способы концептуализации становятся привычными до такой степени, что в итоге становятся предписаниями по организации опыта как такового» [12, с. 17]. Если автонарративная схема является дисфункциональной, то ее использование побуждает к тому, что индивид структурирует новый опыт соответственно старым образцам, и этот способ продолжает заново конструировать те же самые проблемы. Например, Carps и Ochs (см. Ochs [65]) в исследованиях нарративной конструкции агорафобии обнаружили, что нарративное отношение женщин, страдающих этим заболеванием, постоянно воспроизводило подобные следствия событий и причинные отношения между ними, т. е. имело характер самоподкрепляющейся эскалации проблемы. Например, в одном из рассказов уличное движение воздействовало на героиню определенным способом – степень ее самосознания повышалась, а обнаружение этого факта вызывало у нее панику, что в свою очередь подталкивало ее к серии защитных действий. Обращение к лекарствам, которых требовалось все больше, не решало проблемы бегства героини от этой ситуации. Как заметил Ochs, рассказчица, повествуя о серии неподдающихся решению проблем, конструировала мир, в котором ее собственная личность выглядела как подчиненная не только своим паническим настроениям и чувствам в целом, но и внешним событиям. Такой конструкции идентичности этой женщины как жертвы агорафобии соответствовал специфический способ соединения событий и внутренних состояний в структуре нарратива (автонарративная схема согласно концепции Trzebiškego). Следовательно, в ее повествованиях эпизоды паники были представлены не только как осознаваемые в связи с прошлым проблемы, но также как случай неизвестного, угрожающего следствия прошлого, что и было причиной конструирования симптома. Ochs видит в этом типичную для агорафобии руминацию, касающуюся возможного влияния пережитых эпизодов страха на будущее. Модификация дисфункциональных автонарративных схем является одной из целей, которые ставит перед собой нарративная психотерапия.

3.2. АВОНАРРАТИВ КАК ДИСКУРС

Методологические основания анализа нарратива содержат два общих положения, особым образом определяющих сам предмет анализа. Согласно первому из них, производному от лингвистических

работ Labova [49; 48], нарратив – это всегда определенная связь предложений. В соответствии с другим дискурсивным положением нарратив скорее представляет собой отношение между участниками социальной интеракции [72]. Аналитики дискурса интересуются нарративом как одной из дискурсивных форм [87; 47].

Здесь не место делать попытки определения понятия дискурса, что является сложным делом даже для знатоков предмета¹⁰⁶. Для задач данного текста будет достаточно, как нам кажется, привлечь часто используемую формулировку, в которой дискурс есть язык-в-употреблении, а значение этого понятия включает в себя три взаимосвязанные измерения: способ употребления языка (лингвистическое измерение); взаимодействие суждений и убеждений (познавательное измерение); интеракция в социальных ситуациях (социальное измерение) [87]. Из этого следует, что исследование дискурса – это обычно междисциплинарное предприятие, как в смысле состава исследовательских групп, так и разряда ставящихся вопросов, которые касаются двух или трех выше отмеченных измерений (например: Как способ использования языка влияет на убеждения и/или интеракцию между людьми? Как разные аспекты интеракции определяют то, что люди говорят? и т. п.). Анализ дискурса как дисциплина не является монолитным с точки зрения отношения к принципу познавательной vs. социальной природы процесса конструирования знания. Само привлечение социального контекста, характерное для анализа дискурса [87], не означает полного воплощения принципов познавательного конструктивизма, но есть акцент на очередном (текущем (on-going)) социальном процессе (подобно течению социального познания (social cognition), превосходно обходящемся без обращения к положениям социального конструкционизма (por. Condor, Antaki [14])). Исследование этих теоретических оснований мы обсудим в следующем подразделе, однако рядом с ними мы представим также анализы дискурса, в которых содержатся (более или менее полно) идеи социального конструкционизма, поскольку они не искажают область изучения дискурса.

¹⁰⁶ Theum van Dijk пишет: «Было бы хорошо, если бы мы смогли поместить все, что знаем о дискурсе, в какой-нибудь подходящей дефиниции. К сожалению, как это имеет место в случае конкретных понятий, таких как «язык», «коммуникация», «интеракция», «сообщество», «культура», понятие дискурса имеет, в сущности, размытый характер» [87, с. 1].

3.2.1. СОЗДАНИЕ НАРРАТИВНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ДИСКУРСЕ

Случается так, что автонарратив конструируется *ad hoc* для использования в конкретной социальной ситуации, он адресован конкретным партнерам и создан вместе с ними. Отсюда следуют интересные выводы в связи с проблемой нарративной идентичности¹⁰⁷. Анализ дискурсивных процессов обнаруживает связующие звенья между автонарративной структурой и ее прагматической функцией в межличностных отношениях, часто основывающейся на создании определенной самоидентичности нарратора, задействованной в конкретной интеракции. Примером может служить проанализированная Ochs(ем) наррация девятилетней Lucy, в которой существенны обстоятельства описанного события (*tzw.* (ситуации) *setting*) [65]. В данном случае контекст повествования оказался изначально скрытым Lucy от родителей, поведавших исследователю эту историю, а потому и представлен в лучшем виде. Рассказ Lucy касался поступка учительницы, которая наказала одну из учениц за то, что та подняла своей подружке юбку в присутствии мальчиков. Lucy рассказала о развитии событий и в конце с возмущением объявила родителям, что «кутузка», в которую отправили за этот поступок виновную, является слишком мягким наказанием. Рассказывая это, Lucy представлялась родителям как поборница нравственности и защитница обиженной подружки, что вызывало одобрение у ее родителей. Тут младший брат Lucy вдруг неожиданно спросил: «Lucy, а ведь ты была в “кутузке” только один раз, правда?», тем самым побудив Lucy к сообщению важной информации, неизвестной до этого ее родителям, о том, что она сама тоже была так же наказана. Эта информация вызвала деформацию в плавном течении родительского содействия в конструировании «морального нарратива». Они начали спрашивать Lucy о том, когда она была в «кутузке», почему и только ли один раз. В результате иное значение получило в новом контексте первоначальные слова Lucy о том, что учительница «была не на высоте (*fair*)». Образ Lucy как защитницы оказался разрушенным, теперь родители поняли, что «слишком мягкое» наказание для той ученицы возмутило ее главным образом потому, что Lucy хотела таким способом уменьшить собственную вину.

¹⁰⁷ В переводе мы используем как синонимичные понятия «самотождественность» и «идентичность» (прим. пер.).

Этот пример привносит в исследовательское «поле видения» факт, который сторонники дискурсивного подхода обычно подчеркивают: автонарратив, даже если он представляет целостную жизнь индивида, всегда конструируется «здесь и теперь» в конкретный момент, вместе со всеми ситуативными и интерактивными обуславливаниями. Для его автора это означает то, что мучительно осознавала Лусу, – организацию свободной креации своей нарративной самотождественности, автонарратив посредством адресатов может оказаться либо акцентированным определенным образом, либо нет. В случае адресатов, которые, как, например, семья Лусу, хорошо знают данную особу, располагая большой информацией по поводу ее и даже обладая собственным автонарративом, в котором эта особа выступает как один из героев, создание личной самотождественности становится делом трудным и рискованным, и к тому же вклад адресатов автонарратива всегда может разрушить выстроенный автором сюжет.

Здесь ценностью, однако, обладает возможность иного типа: подтверждение нарративного образа собственной личности в глазах других, путем привлечения их к совместному созданию личного автонарратива. Она означает как бы своего рода социальное обоснование личной нарративной самотождественности (что стало особым предметом интереса социальных конструкционистов и будет далее показано). Примером могут служить результаты исследований Rennie [69], который записывал ход нарративной психотерапевтической сессии, а затем просил клиентов рассказать о своих переживаниях во время отдельных эпизодов сессии, переживаемых актуально, либо показанных им на экране. В среднем во время одной сессии клиенты избирали для своих рассказов около восьми своеобразных эпизодов. Они начинали рассказывать свои истории, осознав определенное напряжение, связанное с актуализацией тех переживаний, с которыми была связана тема беседы психотерапевта. Это напряжение им удавалось ослабить, рассказывая об этом переживании. Следовательно, первой функцией создания нарратива в этом случае был контроль собственных эмоций. Клиенты сообщали, что рассказывание истории позволяло им не только изучать работу собственных переживаний, но и освободиться от тех из них, которые были неприятны. О позитивной роли нарративного структурирования собственного опыта говорили и приведенные ранее данные исследований Pennebaker(a) или Herman. Однако не-

которые клиенты Rennie описывали и другие функции создаваемых ими автонарративов, которые определялись ими как «манипуляция убеждениями», при этом речь шла прежде всего об убеждениях терапевта! Например, одна из клиенток, рассказывая о состоявшейся квалификационной беседе, намеренно старалась, как выяснилось во время комментирования записи, создать фальшивое впечатление о ней как о личности, уверенной в себе и полностью владеющей собой. Привлечение терапевта к совместному конструированию такого видения ее личности было ей необходимо, чтобы таким образом подтвердить его и усилить, что не связывалось с ожидающими ее вскоре разговорами. Интересно, что эту функцию истории в терапевтическом процессе – «манипуляции убеждениями» терапевта – клиенты осознавали с очень большой помощью. Здесь можно повторно поставить вопрос, действительно ли обретение взгляда является именно тем, чем должна заниматься терапия – может, прямо наоборот – ее благотворное влияние основывается скорее на поддержке или прямом совместном создании с клиентом «иллюзий, которые позволяют жить» [45]¹⁰⁸.

В нарративной терапии часто подчеркивается роль терапевта как адресата либо соавтора нарратива клиента. Если нарративная терапия действительно может воодушевлять людей в процессе нового самостановления как автора своих нарративов (*re-authoring the story*) – как определяют это White и Epston [90] – то может ли быть нейтральным процесс какого-нибудь слушания или соучастие в конструировании этих нарративов? Эта проблема стала предметом дискурсивных исследований, посвященных изучению нарративной самоидентичности, понимаемой в связи с ее ролью в совместном конструировании нарратива.

¹⁰⁸ Rennie придерживается, однако, традиционного взгляда: даже если клиент создает рассказ с интенцией овладения страхом и усиления позитивного видения себя, то сам процесс его конструирования в интеракции с психотерапевтом происходит так, что углубляется в себя он до определенной степени сознательно, в результате чего определенные содержания остаются терапевту нераскрытыми. Как свидетельствуют комментарии клиентов к звукозаписям сессии, рассказ, создаваемый вслух для терапевта, — это «вскрытие» (согласно археологической метафоре Rennie) значительно более богатых «пластов» внутреннего повествования, разворачивающихся параллельно.

3.2.2. НАРРАТИВНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК РОЛЬ В СОЗДАНИИ РАССКАЗА

Определяя дискурс, van Dijk говорит о трех его аспектах: лингвистическом, познавательном, социальном [87]. В связи с этим создание рассказа выступает не только языковой или познавательной активностью, оно также является совместным действием (*joint action*), в котором разные участники могут играть разные роли. Mandelbaum (за Ochs [65]) выделяет истории, исходящие от рассказчика (*teller-driven stories*), и истории, проистекающие от адресата (*recipient-driven stories*). Истории, инициированные рассказчиком, бесспорно, имеют только одного автора, который удерживает и растягивает свою фабулу, развивая очередной круг беседы. Адресат в этом случае косвенно влияет на развитие рассказа, поощряя автора и выражая заинтересованность его словами. Наиболее активная роль выпадает нарративу в тех случаях, которые Mandelbaum квалифицирует как исходящие от адресатов. Тогда автор и адресат совместно приходят к определению того, о чем именно должен быть этот рассказ и как его следует развивать. В особенности это свойственно историям, в которых адресат также выступает как их герой, например, как в изученных Goodwin детских интеракциях типа «А она сказала, а он сказал», типичных для ситуаций взаимных обвинений [26].

Участие в процессе совместного конструирования нарратива различно в зависимости от состава участников. Приписывание одному из них знаний и опыта дает ему «право» внесения бóльших, чем другие, вкладов в общий рассказ [25]. Однако не всегда компетенция личности является источником ее «нарративных прав». Изучение семейных нарративов показало, что в американских семьях истории о детях «вероятно» могут рассказывать только родители, зато от самих детей ожидается, что они будут слушать эти родительские истории [83]. Кроме этого, за взрослыми в значительной степени больше чем за детьми признается право влияния на линию повествования иных участников интеракции. Исследования Ochs(a) и его сотрудников показали, что в семьях белых представителей американского среднего класса матери нарушали нить повествования других участников совместной истории почти в два раза чаще, а отцы почти в три раза чаще, чем это делали дети [65]. Повторяющийся выбор одних и тех же ролей в процессах совместного создания рассказа, по мнению авторов, оказывает влияние

на конструирование и поддержку семейной самоидентичности отдельных лиц. Итак, оспаривание фабул, предложенных к совместному повествованию другими, является (в культуре белых американцев) рутинным социальным действием, выступающим элементом самоидентичности идентичности родителя и в особенности – идентичности отца. К склонности родителей нарушать течение истории дети имеют свое дополнение в виде саботирования родительских попыток получить от них какие-либо общие отчеты о пережитых событиях. Ochs иллюстрирует эту мысль примером типичного обмена высказываниями, которые часты между родителями и детьми, причем не только в Америке: «Что делали сегодня в школе? – Ничего» [65]. Из повторяющихся ситуаций, в которых взрослые систематически нарушают повествования детей и авторитарно изменяют их форму, дети выносят практический опыт, касающийся того, что их голос не авторитетен, их рассказы незначимы, а роль в совместном определении течения событий и придания им значения – достаточно скромная. Именно к этому роду убеждений о себе (представленных видимо не явным, а скрытым образом), Ochs относит понятие нарративной самоидентичности [65]. Мы обратимся еще к этой проблеме при обсуждении генеза диалогического «я».

3.3. ИСТОРИИ, КОТОРЫЕ РАССКАЗЫВАЮТСЯ НАМИ. ПОЛОЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОНСТРУКЦИОНИЗМА¹⁰⁹

В приведенных выше рассуждениях выразительно обозначил себя один элемент, который позволил части исследователей выйти за пределы оснований познавательного конструкционизма. Речь идет именно о социально-культурном характере средств и процессов, посредством которых индивиды конструируют свои нарративные самоидентичности. Познавательные конструкционисты не обсуждают влияние социальных и культурных факторов на структуры и познавательные процессы индивидов, в конкретных исследованиях и теоретических концепциях их обычно интересуют вопросы связи между поведением и действием индивида и его индивидуальными способами конструирования и репрезентации знания. Согласно мнению Forgasa, содержащегося в ныне

¹⁰⁹ В этом разделе я использовала фрагменты другой моей статьи [80].

классическом учебнике, посвященном социальному знанию (social cognition), большая часть известных исследований, выполненных в парадигме познавательного конструкционизма, касается социального знания, понимаемого как знание на тему социального мира (1981). Однако Forgas показывает также и иные возможные значения термина «социальное знание»: социальный характер имеет не его предмет, а субъект. Другими словами, «социальное знание» может быть знанием на любую тему, но созданным социально – совместно структурировано и разделено с другими. Вопросы, касающиеся этих проблем, редко становятся главным предметом интереса социально-познавательных конструкционистов, и он программно абстрагируется от вопросов первого рода.

Социальный конструкционизм в своей современной редакции (por. Gergen [22]) не отделен жесткой границей от дискурсивного подхода. Наоборот, большинство исследователей дискурса провозглашает принятие принципов социальной природы конструктивных процессов (por. dyskusję w: Condor, Antaki [14], także van Dijk [87]), равно как и социальные конструкционисты в своих декларациях часто ссылаются на дискурсивные исследования и нередко используют этот методологический подход в своих целях [10; 11; 21; 62].

3.3.1. Надындивидуальное измерение повествования

В социально-конструкционистском течении нарративного подхода [76; 53; 20; 11] подчеркивается культурное, социальное происхождение повествования. Нарратив не создается одиноким субъектом, а совместно конструируется в диалоге с другими. Употребляя термины социальной феноменологии [6; 5; 77], можно описать этот процесс как элемент социального конструирования реальности, а там, где речь идет о диалоге детей и взрослых, – как о практике приобщения молодого поколения к согласованной реальности (consensus reality). Bruner сравнивает рождение человека с выходом на сцену, на которой уже давно идет представление, и развивающаяся интрига в какой-то степени остается открытой, однако в то же время достаточно ограничен как спектр ролей, которые в этом представлении может играть конкретная личность, так и жизненная перспектива, которой можно достичь [12]. Индивид существует в культуре и с самого начала жизни обсуждает с другими роли

и значения, почерпнутые из культурного репертуара и соотнесенные с личным опытом. Эти процессы идут в течение всей жизни, а круг партнеров по диалогу расширяется. Индивидуальные нарративы отдельных личностей, являясь взаимоуникальными, часто имеют все основания в каком-нибудь коллективном повествовании. Например, индивидуальный нарратив матери и ребенка или мужа и жены взаимозависимы и создаются во внеиндивидуальной истории семьи, которая в свою очередь может быть укоренена в родовом древе и/либо в коллективных нарративах сообщества (например, религиозного) или сообщества (например, этнического), частью которого является семья. Потомственные порядки семьи, заключенные в родовом древе, как бы «дописывают» индивидуальный нарратив, который заполняется собственным содержанием. Это иллюстрирует фрагмент интервью сорокадвухлетнего мужчины (взятый из наших собственных неопубликованных исследований): «Наша семья всегда, так сказать, служила Отчизне: дед... наверное, это был дед... моего деда, его брат принимал участие в январском восстании, затем, как известно, две мировых войны, отец был в АК¹¹⁰. Ну а теперь мой брат и я были в Солидарности. У нас всегда так было: мужчины воевали, а женщины (смех)... перевязывали им раны».

На этом в значительной мере основывается первичная социализация (в семье), а в подобном способе можно также видеть процессы вторичной социализации, связанные с участием во внеродственных институтах или социальных группах [5], в которых каждая усвоенная лично реальность согласована или, в терминах Bruner(a) [11], – выступает собственным «возможным миром» и появляется в сознании его участников как реальный, единственно достоверный мир. Для лиц, не включенных в данную группу, он, однако, может выглядеть достаточно экзотичным, как, например, мир отбывающего наказание заключенного, который однажды уже определил свою идентичность словами «мы – рецидивисты», а в интервью рисует образ «достойного прошлого» и «упадка современных нравов», основывающегося на том, между прочим, что «сегодня

¹¹⁰ АК — Армия Крайова (АК; польск. Armia Krajowa) — вооруженные силы польского подполья во время Второй мировой войны, действовавшие в основном в пределах довоенной территории польского государства.

молодые не знают преступного языка, не уважают находящихся в заключении рецидивистов. Раньше же он был высокоуважаемым, был отмечен Интерполом» [44, с. 69].

Существование таких коллективных повествований, создающих и поддерживающих согласованную реальность, имеет фундаментальное значение для возникновения и функционирования данной общественной группы. Эти повествования не только конституируют групповую идентичность, но и предоставляют взаимно понятные и приемлемые объяснения поступков отдельных членов группы, а также апробированные программы деятельности, вытекающие из нарративно понятой роли сообщества данного индивида и основанной на ней идентичности.

Исследовательские дискуссии используют понятие «дискурсивные практики» для определения способа высказывания, каким люди в создаваемой истории творят «психическую реальность» и с помощью ее продуцируют социальный порядок, вкупе со вписанными в него интересами доминирующих групп и возникающими вследствие этого различными формами символического насилия, принуждающими и самопринуждающими участников им подчиненных групп. Примеры современных исследований, касающихся организационного дискурса, описывают Mumby и Clair [64]. Они приводят популярную среди сотрудников концерна IBM действительно имевшую место историю, в которой представитель элиты, управляющей концерном, заговорил охранника и, не имея при себе идентификатора или пропуска, проник в охраняемое помещение. Эта история как элемент организационной культуры может свидетельствовать о демократичности концерна и являться частью «политики самотождественности», предлагающей сотрудникам образцы концепции себя в организации как равных элите. Однако, как показывает в своих работах Mumby [64], эта история содержит в себе антидемократическое послание, которое может привести к созданию широкой системы социального неравенства. Данное обстоятельство связано с тем, что представитель власти концерна в этой истории представлен как хорошо одетый, серьезный и компетентный мужчина, в то время как в качестве охранника в ней выступает женщина, о которой слушатель обладает особыми сведениями: она скромный постовой, одета в слишком большую для нее униформу, к тому же она является домохозяйкой, и, так как ее муж занят на отдаленной работе, она устроилась на время его

отсутствия охранником. Посредством такой характеристики, отсылающей к сексистским стереотипам, в рассказе сконструирован контраст между двумя этими фигурами и только в таком контексте послание о «демократичности» организации обретает смысл. Эта история, вопреки явному содержанию сообщения, создает систему социального неравенства (слишком «очевидную» для прямого называния) и усиливает сконструированную в ее рамках социальную идентичность членов организации.

3.3.2. Принцип Дон Кихота

«Жизнь не является “такой, какой она есть”, но такой, какой я ее интерпретирую и реинтерпретирую, какой рассказываю и пересказываю о ней», – пишет Bruner [12, с. 17]. Создание автонарратива содержит в себе значительный творческий элемент. Как я обосновывала выше, этот креативный акт является не только точным описанием фактов, но скорее созданием фабулы, связанной с отбором событий и субъективной их оценкой и интерпретацией. Нередко это творчество не только опускает действительные факты, но прямо создает новые и, что может выглядеть поразительным, именно на этой основе личность конструирует свою идентичность, которая затем подтверждается в реальных действиях и интеракциях с другими. Канвой таким образом создаваемого нарратива нередко бывает какой-нибудь известный в культуре и популярный в данном ареале сюжет, например литературный. Создание такого рода собственной самотождественности на основе культурной фикции известно в литературе как «принцип Дон Кихота». Впервые он был описан под этим названием Levin(ым) [50], а затем развит в других исследованиях нарратива, таких как Sarbin(a) [75] и Hermans(a) [38].

«Принцип Дон Кихота» своим названием вызывает в памяти фигуру героя повести Сервантеса, испанского рыцаря шестнадцатого века, ставшего собирательным образом средневековых рыцарских рассказов, приобрел соответствующее им имя – Дон Кихот – и выразил мир, как бы данный рыцарю, борющемуся со злом. Hermans и Kempen описывают примеры действия принципа Дон Кихота в реальной жизни [38]. Историческим примером этому является та волна самоубийств, отмеченных после публикации повести Гёте «Страдания молодого Вертера», в которой романтический герой трагическим образом решил положить конец своим

неисполнимым желаниям. Как утверждают исследователи, которые заинтересовались этим явлением, типичный наследник Вертера, по историческим свидетельствам, осуществлял самоубийство в полном вертеровском уборе: в голубом фраке, желтой жилетке и высоких сапогах.

«Эффект Вертера» не угас с падением популярности повести Гёте. Philips (за Cialdini [13]), анализируя современную американскую статистику, заметил, что после каждого оглашенного в средствах массовой информации самоубийства известной личности бурно растет число самоубийств «обычных» людей, а также число мнимых, не считающихся самоубийствами, происшествий (автомобильных, авиационных и т. п.). Более тщательный анализ показывает, что чаще всего игре, восходящей к этому наследству, согласно закономерностям социального влияния, соответствуют лица, подобные известному самоубийце и, следовательно, способные легко с ним отождествиться. Как сообщает Cialdini: «...где известное самоубийство совершал молодой человек, там именно молодые водители врезались в деревья, столбы или заграждения с фатальным исходом; когда же самоубийство с первых страниц газет касалось человека пожилого, в этих случаях гибли более взрослые водители» [13, с. 139]. Последующие исследования Philips(a) показали, что подобный эффект касается убийств и иных актов насилия, которые, будучи широко освещенными, вызывают волну подобных актов, причем наследие это в некоторых случаях действует аналогично, проявляясь даже в случаях трансляции по телевидению боксерских матчей: если последний бой проиграл черный боксер, то в течение нескольких последующих дней наблюдается рост убийств черных мужчин, если же проигравшим оказывается белый профессионал, то наблюдается быстрый рост убийств, жертвами которых становятся белые мужчины.

Нарративная психология предлагает для этих явлений объяснение, изложенное ниже, предложенное Cialdini [13], отсылающего к норме «социального обоснования правильности» – т. е. к применению принципа Дон Кихота, согласно которому считается, что люди, читая в прессе об известных самоубийцах или просматривая телевизионные сообщения («визуальный рассказ») с боксерского матча, идентифицируют себя с героем этих историй – и достигают подобия между ним и собой тем более, чем притягательнее и ценнее для их «я» такая идентификация (например, этому уподоблению способствует цвет кожи боксера, выигравшего бой, а его победа по-

зволяет приписывать ему желаемые атрибуты силы и успеха). Некоторые адресаты этих историй используют ее как образец конструирования *ad hoc* собственной воображаемой идентичности, а часть из них не останавливается на создании образов, решив, как Дон Кихот, что следует совершить действие и тем самым подтвердить «реальность» своего нового «я». Хотя выглядит это как описание детской игры, жизнь предоставляет много, иногда драматичных, примеров того, что «играют» в них порой далеко не дети. Sarbin, описывая нарративные особенности человеческих действий, приводит пример уличных банд, члены которых, как показывают этнографические исследования (Katz, см. Sarbin [75]), создают свои групповые и индивидуальные идентичности на основе сюжетов, заимствованных в средневековых или древних легендах и мифах [75]. Принимая аристократические имена (Лорда, Князя, Фараона и др.), они не столько ощущают себя членами банд, сколько членами «уличной элиты» и соответственно себя ведут.

Принцип Дон Кихота описывает и объясняет, каким образом созданная нарративная идентичность управляет поведением и деятельностью.

3.3.3. КУЛЬТУРНАЯ КАРТИНА НАРРАТИВА

Как уверяют Gergen и Gergen, единичная личность не имеет больших перспектив в конструировании собственной нарративной идентичности, так как существуют культурно predetermined нарративные образцы (narrative forms), которые индивид может выбирать [20]. Каждый из этих образцов является своего рода инструкцией или программой конструирования автонарратива определенным способом, но при этом они должны быть понятны (intelligible) и согласованы «в смысле» с другими участниками этой же культурной группы. Авторы обсуждают несколько примерных образцов, таких как образец романтической, трагической или комедийной¹¹¹ истории. Они возникают путем разных объединений фрагментов прогрессивного либо регрессивного нарратива, т. е. такого, в котором очередное событие ценностно описано как более

¹¹¹ Очевидно, что понятие типа нарративного образца не может быть ограничено только этими категориями. Определение того, какими существенными чертами могут разниться созданные людьми нарративы и какие типы образцов можно на этом основании выделить, является эмпирической проблемой.

позитивное или негативное. В свою очередь стабильный нарратив в квалификации авторов отличается от нарратива прогрессивного или регрессивного тем, что в нем нарушено течение времени, направленного изменения и переоценки событий.

Каждый из образцов (романтический, трагический и комедийный) может быть приспособлен в отношении любых содержаний, он включает только самые общие особенности имеющейся формы нарратива, такие как направление переоценки событий в ходе повествования (например, трагическая история начинается с «хорошей» ситуации, которая последовательно ухудшается), а также способ завершения (например, happy-end, необходимый для романтической или комедийной истории).

Хотя теоретически образцов этих может быть бесконечное множество, на практике репертуар данной культуры состоит из их конкретного числа – иные образцы не будут «осмысленными» или «понятными». Gergen и Gergen так интерпретируют эту проблему: «Обсудим, например, личность, которая описывает себя средствами стабильного нарратива: жизнь не имеет направленности, является просто монотонным течением процесса ни к цели, ни от нее. Такая личность показалась бы нам определенным кандидатом для прихотерапии. [...] Мы не воспринимаем такие повествования как соответствующие действительности. И наоборот, если кто-либо станет осмыслять свою жизнь как “долгий и полный трудов подъем в гору”, как “трагическое падение” или как историю “череды поражений и возрождений из пепла на пути к успеху” – мы вполне готовы ему верить. Мы несвободны придать своей истории ту форму, какую хотим. Культура приветствует желание определенной самотождественности, противясь иным» [20]¹¹².

Из этих теоретических рассуждений возникает вопрос, на который Gergen и Gergen искали эмпирический ответ: как люди из разных социальных групп описывают свою жизненную историю? Есть ли в этих описаниях отличия, которые могли бы происходить от разных нарративных образцов, доступных данной группе в культурном репертуаре? Ответ, вытекающий из исследований этих авторов, утвердителен. Молодые американцы (юношеского возраста) создают автонарративы, определенно нередко противостоящие (если речь идет о смене ценностей, расположенных на оси

¹¹² Номер страницы и цитат указан в соответствии с копией неопубликованной рукописи (машинопись, подготовленная к печати).

времени) историям старших лиц. В молодежной группе обобщенная оценка «благополучия» была высокой в отношении континуума первых лет жизни и настоящего времени, между этими двумя пределами находился «провал», что типично, с точки зрения авторов, для романтических описаний: молодые американцы представляют себя как тех, которые измеряют себя успешным взрослением, открывающим для них широкие перспективы. Зато оценки лиц в возрасте 63–93 лет имели форму, напоминающую перевернутую букву U: молодость и зрелость оценивались ими как трудные, зато потом линия достигала «золотых лет» в районе 50–60 лет жизни, причем влияние возраста воспринималось ими как закат. Авторы обращают внимание на то, что такая форма нарратива не возникает из объективных черт «жизни как таковой», которая в индивидуальных вариантах может быть разной – случалось, что целиком отличной от нарисованной выше кривой (например, счастливая молодость, трудный средний возраст и угасание в зрелый период). Форма этих автонарративов прямо зависела от социальной конструкции, которая предоставлялась согласованной с образцом способом осмысления собственной жизни конкретному индивиду. Gergen и Gergen обращают внимание, что в установлении такого социального способа восприятия старости могли принимать участие также и социальные науки, которые много говорили о «развитии» в детстве и «инволюции» в старости [20].

Еще более убеждают в этом обсуждаемые ниже исследования этих же авторов, посвященные отличиям в конструировании истории жизни мужчинами и женщинами [23]. Из них следует, что культурные образцы могут выполнять роль «цензуры». Важно то, что не согласованные с ними опыты личности не могут быть включены в автонарратив, не могут быть предметом переговоров с другими людьми и не могут быть включены в сферу ее явной идентичности. Это явление, в своей общей форме (не только иной концептуализации) хорошо известное психотерапевтам (por. Нр. Rogers [73]), в нарративной терапии становится главным предметом заинтересованности. Посвятим этому далее минуту внимания.

3.3.4. Утаенные истории

Анализируя половые различия в структуре опубликованных автобиографий, Gergen и Gergen утверждают, что нарративы мужчин концентрируются на теме достижений, и в них редко появлялась

тема семьи и отношений с людьми [23]. В свою очередь в нарративах женщин главный акцент делался на семейных и дружеских отношениях, а индивидуальные достижения обычно находились на втором плане. Еще одно отличие обнаруживалось выпукло в линейности нарративов мужчин, исключавших из них побочные, с точки зрения целей героя, сюжеты. Напротив, в нарративы женщин часто привлекались события, находящиеся за пределами контроля героини. Интерпретируя эти результаты, Gergen и Gergen утверждают, что женщины и мужчины обучаются рассказывать разные истории по поводу своей жизни, и следовательно, культурные образцы – в зависимости от пола – тоже разные [23]. Однако реальные опыты, чувства и переживания женщин и мужчин бывают противоречащими культурным стереотипам и может так случиться, что они как бы искажают их положение в истории жизни, созданной в соответствии с бытующими образцами. Следовательно, использование этих образцов конкретной личностью для придания значения своему опыту всегда должно вызывать определенный вид переживаний, интенций и чувств, которые находятся в сфере культурно санкционированных переживаний – либо «мужских», либо «женских». Такие переживания (например, мотивы достижения у женщин и семейные и приятельские отношения у мужчин) оказываются тогда исключенными из явной истории жизни и явной идентичности данной личности. Фактом является то, что в публично представленной биографии для них нет места, они автоматически не воспроизводятся, и в итоге такие переживания перестают существовать. В результате женщинам несвойственно стремление к успеху, а мужчинам – глубокая личная заинтересованность в отношениях с другими. Эти чувства и связанные с ними сознания составляют иногда то, что нарративные терапевты (White, Epston [90]) определяют как «утаенная история» данной личности; одной из целей терапии в этом случае является создание условий для ее выговаривания и помощь в поиске языковых и познавательных средств, обеспечивающих данную задачу.

Идеи Gergen и Gergen [20; 23] инспирировали исследования Stemplewskiej-Żakowicz [80], в которых между прочим была сделана попытка определить, какого рода личные мотивы, чувства и сознания свойственны «я» либо из него исключены в связи с нарративными образцами, согласованными (скорее неосознанно) во время социального конструирования идентичности с помощью участников

трех разных групп: католического сообщества, так называемой неокатехизаторской международной организации студентов-экономистов, а также неформального круга лиц анархических убеждений.

Исследование было осуществлено в контексте актуальных перемен социально-политической ситуации в Польше. Из него следует, что каждая из обозначенных групп имеет свои особенные нарративные образцы, которые побуждают к разному по форме и содержанию конструированию собственной самотождественности личностями, идентифицирующимися со своими группами. Так, например, нарративным образцам католического сообщества свойственна позитивная оценка и подчеркивание «польскости», традиционных народно-религиозных ценностей, а также их подчиненность авторитету. Зато исключению из сферы так сконструированной идентичности подлежал интерес к новым жизненным стилям и благам потребительства, а также мотивы достижения и успеха, сексуальные мотивы и стремление к личной уникальности и автономии. Эти мотивы были включены в образ «я» в группе студентов-экономистов, где «европейскость», глобализация и толерантность оценивались позитивно, а исключалось из собственной идентичности то, что касалось народно-религиозных ценностей и многих других элементов, позитивно подчеркиваемых в первой группе. В свою очередь качественно отличные образцы, используемые в группе анархистов, предлагали своим пользователям идентичность, основанную на контекстуализации и деконструкции всяких социально-согласованных фикций, исключая из их образа «я» осознание собственного участия в «социальном согласовании реальности». Несмотря на значительную содержательную разницу, каждая из этих трех групп в конструировании своей самотождественности обнаруживала тенденцию к отвлечению от одних типов опыта и концентрации на других. Также доказано, что группы отличались друг от друга и количественно понимаемым аспектом, исключаящим осознание того (не обращая внимания на содержание), что связывалось с определенными общими, формальными особенностями дискурса, характерного для данной группы: он мог быть более или менее ограниченным по отношению к сознанию подчиняющихся ему индивидов. Иными словами, «утаенные истории» членов отдельных групп были более или менее богаты содержанием.

Как пишет McLeod, «[...] культура, в которой мы живем, предоставляет нам истории, которые не приспособлены к нашему опыту,

а также мы имеем опыт, который не приспособлен к этим историям» [61, с. 100]. Нередко оказывается так, что в этом случае получается «тем хуже для опыта». Множество людей носит в себе истории, которые либо никогда не были, либо не могли быть сказаны. Понятие «умолчание» (silencing), созданное терапевтами, которые помогают жертвам сексуального насилия в детстве, относится к ситуациям, в которых окружение не желает слушать подлинные истории. Испытывали умолчание ветераны войны, а также женщины, которым когда-то, по Фрейду, ставили диагноз истерия вместо PTSD, вызванного сексуальным насилием [35], жертвы Холокоста [15], землетрясений [68] и домашнего насилия [51; 19]. Причиной этого мог быть «сговор молчания» [15], дискриминация [19; 51] или фукианское отношение власти [90], иногда это могло быть связано с незнанием особо выгодных для жертвы способов поведения [68] либо с обоснованным опасением преследования из-за разглашения утаенной истории, чем Billig [8; 9] объясняет поразительный поворот в ранних взглядах Фрейда на генезис истерии¹¹³. Какими бы ни были эти предпосылки, умолчание показывает, что история не может быть рассказана, следовательно, существенная часть опыта данной личности остается «немой» и не может быть разделена с другими или стать составляющей ее субъективной самотождественности.

McLeod, практикующий нарративную социально-конструкционистскую терапию, нашел в этом обоснование, согласно которому клиенты обращаются за помощью, не придавая значения опре-

¹¹³ Как известно, первоначально Фрейд находил причины истерии в неосознанном сексуальном насилии (что согласуется с современными взглядами, ср. Nerman [35]), однако позже он отказался от этого тезиса и высказал мысль о том, что упомянутое насилие было результатом фантазий пациенток, гасивших этим способом свое неосознанное сексуальное стремление. Отказ от веры в реальность историй пациенток современными психологами был интерпретирован как следствие патриархальной ментальности Фрейда. Billig [8] предложил альтернативное объяснение, согласно которому это мучительное решение Фрейда было связано с поиском меньшего зла: как еврей он был прекрасно осведомлен о нарастающих в тогдашней Австрии антисемитских настроениях и хорошо представлял себе, что предъявление фактов сексуального насилия (которые относились к изученным им еврейским семьям) может вызвать волну преследований.

делению своей проблемы [61]. Действительно «всегда существуют чувства и опыт, несоответствующие доминирующей истории», – утверждает Bruner [11, с. 143], однако это не должно стать источником проблем, если только личность при необходимости в состоянии создать альтернативную историю, принимая во внимание этот опыт. «Одарение голосом» (*voicing*) немых до сих пор опытов и создание возможностей посредством этого конструирования альтернативной истории является главной проблемой социально-конструкционистской нарративной терапии. Ее целью является не столько замена одного нарратива другим или достижение какого-нибудь идеального состояния финального единства, сколько создание возможности диалогического процесса, посредством которого своевременно, динамично создаются новые значения. Это положение переносит нас, однако, на почву дискурсивной психологии, связанной с идеей познавательного конструкционизма многообещающим, по моему мнению, способом.

3.4. ДИАЛОГИЧЕСКОЕ «Я». КОНЦЕПЦИЯ ДИСКУРСИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ¹¹⁴

Дискурсивная психология возникла под влиянием начавшегося в восьмидесятые годы роста заинтересованности дискурсивными процессами и моделями, названного своими сторонниками «второй познавательной революцией» [33; 52]. По всей видимости, впервые термином «дискурсивная психология» воспользовались Edwards и Potter [17] для названия своей книжки, посвященной следствиям, которые вытекают из дискурсивного поворота для традиционных оснований познавательной и социальной психологии. То, что отличает дискурсивную теорию от «классических» познавательных, есть, вообще говоря, следствие принятия тезиса Выготского о том, что социальное взаимодействие и язык (обобщая: дискурс согласно современной терминологии) выступают источником развития мышления [91; 92]. Конкретные дискурсивные практики являются образцовыми для мышления, предоставляя ему структуры и процедуры – базовое положение дискурсивной психологии. Ее представители много берут и из работ российского литературоведа

¹¹⁴ В этом разделе использован измененный фрагмент другой моей статьи, посвященной моделям «дискурсивного смысла» [79].

Михаила Бахтина [1; 2]. Созданные им понятия «голос» и «диалог» инспирировали множество современных разработок.

Идеи Выготского и Бахтина – общие имена многих концепций дискурсивной психологии, которые между тем могут значительно отличаться друг от друга. Радикалы, такие как, например, Harré [33] или Shotter [78], не видят нужды в исследованиях умственных репрезентаций, скрытых от взгляда психотерапевта: коль скоро их структура является кристаллизацией социальных структур разговора, то следует исследовать то и там, что доступно непосредственному наблюдению, а именно разговор. Менее радикальное направление Billig [8; 9; 38; 89] не отказывается от изучения внутренней организации познавательных структур индивида. Внося идеи социального конструкционизма в размышления о способе репрезентации знаний (характерных для познавательного конструкционизма), они создают теоретические модели смысла, в которых помимо использования понятий Выготского и Бахтина стремятся описать социально-культурное происхождение структур мышления и его диалоговую сущность.

3.4.1. ДИАЛОГИЧЕСКИ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ СМЫСЛ: ИДЕЯ ВЫГОТСКОГО И БАХТИНА

Для современных подходов, адаптирующих идеи Бахтина к западной психологии (por. Shotter [78], Wertsch [89]), диалогичность выступает базовой экзистенциальной формой сознания. Нельзя думать, пишет Shotter, опираясь на взгляды Бахтина, что люди присваивают язык, чтобы с его помощью именовать и коммуницировать с содержанием другой части своего сознания [78]. Скорее, именно в языке впервые осуществляется сознание. Даже интроспекция является процессом диалогическим: когда мы пытаемся разобраться первоначально неясное ощущение «чего-то», того, что в нас сейчас, когда многократно переходим от этого ощущения к его конкретной формулировке, то тем самым делаем усилие, служащее тому, чтобы наделить это чувство голосом социально понятным, приемлемым и легитимным способом.

Диалогичность является также принципом организации мыслительных процессов. Выготский считал, что раз сознание генетически выводится из коммуникации, то нет резкой границы между разговором и мышлением. Понятие, как и слово, является «двусторонним

актом». Важным является то, кто им пользуется и к кому обращает свою интенцию. Другими словами, значимо то, какой голос выступает субъектом данного акта речи или мышления.

Чем является бахтианский «голос»? Как уверяет Бахтин, каждая мысль высказывается с определенной точки зрения (хотя она не обязательно будет завершенной *explicit* в содержании мысли). То, что обуславливает разные точки зрения, является прежде всего разностью в оценивании, а также описании, интерпретации и наделении значением того, о чем идет речь – реальности. Термин «голос» можно также связать с субъективной перспективой говорящего, понятийным горизонтом, интенцией и мировоззрением – с действительной социально упорядоченной целостностью субъекта, которая в персонифицированной метафоре Бахтина определялась как «говорящая личность». Если мы вслед за Выготским примем, что мышление является внутренним языком, то термин «голос» мы можем употреблять также в значении «мыслящей личности», мыслящей очевидно способом говорения, усвоенным ранее в социальных ситуациях. «Голос» является, следовательно, такой «мыслящей личностью», самотождественность, мировоззрение и мышление которой оказываются определенными дискурсом, в котором участвовали¹¹⁵.

«Голоса» не следует отождествлять с действительным лицом. Лицо пользуется голосом интенционально и сознательно либо (значительно чаще) непроизвольно, не отдавая себе в этом отчета. Источником голоса в индивидуальном мышлении является социализация. Голос всегда связан (также и в онтогенетическом смысле) с конкретным социальным контекстом, объемлющим определенные межличностные отношения социальной или институциональной

¹¹⁵ Бахтин пользуется терминами «социальные языки» (*social languages*) и «речевые жанры» (*speech genres*), означающие разновидности использования языка, характерного для определенных социальных контекстов. Согласно современным концепциям, именно так можно кратко определить дискурс. Чтобы сохранить терминологическую связность, позволю себе использовать в данном контексте термин «дискурс» как равнозначимый. Так можно создать некоторое представление о дискурсивном подходе: «Для Бахтина социальный язык – это дискурс, специфичный для определенной общественной группы (например, возрастной или профессиональной), действительно ограниченной социальной системой и историческим временем [38, с. 77].

группы вместе с целостностью, типичной для ее социальной практики. Социальных контекстов и соответствующих им дискурсов множество, и внутри каждого из них могут существовать разные голоса. Например, в дискурсе формального обучения можно выделить голос учителя и ученика, которые в соответствии с общими, характерными для этого дискурса интерактивными правилами имеют свою специфику и базируются на особом законе. Далее голос, а вернее голоса, поскольку их всегда множество, оказываются «виртуальными субъектами» интернализированных дискурсов, которые обнаруживают себя в диспозициях индивида как доступные ему способы мышления. Эти способы выводятся из социальных отношений, в которых личность в прошлом участвовала. Согласно описанным Выготским закономерностям развития, они интериорируются и становятся инструментами ее мысли [89].

Важной особенностью голоса является его адресность, которая (между прочим) отличает речь от языка: высказывания всегда адресованы кем-то для кого-то. Посредством взаимной адресации, т. е. отнесения к себе разных голосов, создается диалогичность, выступающая существенной характеристикой дискурсивного мышления. Диалогичность есть, следовательно, многоголосье (т. е. полифоничность – очередное понятие Бахтина), она означает сосуществование в мышлении разных голосов. Полифоничность возникает из того факта, что в процессе социализации личность присваивает разные способы употребления языка, разные дискурсы и каждый из них вызывает к существованию иные феноменологические «миры» и иные самотождественности говорящего (голоса).

Одна и та же личность может пользоваться весьма различными дискурсами в разных ситуациях, и это не является особенностью специально подготовленных лиц. Часто цитируется в этом контексте пример из Бахтина: неграмотный юноша из глубокой провинции также использует разные дискурсы. В одном «социальном языке» он молится Богу, в другом – поет песни, в третьем – общается ежедневно с семьей, и со всем в ином языке он, с помощью писаря, составляет прошение к местной власти. Однако в сознании этого юноши разные «социальные языки» не организованы диалогически: он переключается с одного на другой автоматически, без остановок, не будучи в состоянии посмотреть на феноменологический «мир», созданный одним из этих дискурсов, из перспективы другого.

Примером иного взгляда на диалогическую форму организации мышления может послужить позиция Раскольникова. Герой «Преступления и наказания» Достоевского вел длительный внутренний диалог с отсутствующими в данный момент лицами (матерью, сестрой, случайными встречными). Используя бахтинские понятия, точнее было бы сказать, что партнерами Раскольникова в этих диалогах были не сами эти личности и даже не их образы, а скорее их голоса в его мышлении. Диалогически структурированное индивидуальное сознание работает так не благодаря мыслям, понятиям или воображению, а именно благодаря голосам, понятым как субъективные точки зрения. В индивидуальном мышлении их всегда много и каждая из них имеет уникальную перспективу, каждая воспринимает что-то, что для других перспектив оказывается неочевидным. Диалогический обмен между ними приводит к выходу за границы социально детерминированных значений, содержащихся в каждой из них, и становится источником новых личных смыслов данного индивида, а также источником интеграции и развития его индивидуальности.

Идеи Бахтина и Выготского, обогатившись взглядами многих современных исследований дискурса, инспирировали теоретическое видение многоголосого «я».

3.4.2. «Я» КАК ПОЛИФОНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

Примером построения теории, в которой идеи Выготского и Бахтина были использованы для интерпретации собственных исследований дискурса, может быть концепция J.V. Wertsch(a) [89]. Мышление в ней сравнивается с «ящиком с инструментами» (*toolkit*), в котором в процессе социализации собираются различные дискурсивные средства мышления, понятые как бахтианские голоса, т. е. «говорящие личности». Субъект может пользоваться ими в различных случаях. Определенные голоса имеют привилегии в определенных ситуациях, и это означает, что они чаще с большим правдоподобием, чем другие, будут в этих ситуациях звучать, поскольку так следует из опыта социализации. Однако Wertsch (подобно остальным авторам представленных здесь концепций) выражает убеждение, что привилегированные взгляды в принципе доступны для сознательной рефлексии и выбора. В концепции Wertsch(a) (касающейся мышления как целостности без выделения структуры «я») бахтианское понятие голоса использовано буквально. Другие авторы инспирированных идеями Бахтина концепций

«я» создают с их использованием родственные понятия: субъектной позиции (*I position*, Davies, Harré, Hermans, Kerpen [16; 38], интерпретируя ее как положение субъекта или как «я»-позицию). Это понятие является базовым в концепциях Н. Ж. М. Hermans(a) [39; 40; 37; 38], где «я» описано как пространственная динамичная структура, состоящая из множества автономных субъектных позиций. То, что отличает эти позиции, является интерпретацией (часто тех же самых) опытов, а разница, по мнению Hermans(a), касается прежде всего способа оценивания событий. «Я» субъекта (I, понятие William James(ом) как феноменологический субъект опыта) может произвольно использовать каждую из этих позиций и даже «перемещаться» между ними в соответствии с изменениями ситуации. Например, во время воображаемых диалогов (с собственным отражением в зеркале, с фотографией кого-то близкого, а в их отсутствие с фигурой из книги) «я» субъекта может многократно перемещаться с позиции, представленной собственной личностью, на позицию собеседника, попеременно наделяя эти позиции голосом. Каждая субъектная позиция – это своеобразная перспектива восприятия интерпретации опыта, в каждой из них «я» субъекта может создавать специфичные рассказы о соответствующем этой перспективе субъектном «я» (*Me*, понятие согласно различению James(a) как феноменологический субъект опыта и выведенный в связи с ним образ себя, концепция собственной личности).

Идея о том, что субъектное «я» может считаться автором повествования (автонарратива), в котором «я» субъекта выступает как герой, была сформулирована в нарративном подходе [53; 60]. То новое, что предложил Hermans, и что стало выражением его целостной концепции – полифоничность. Другими словами, новой здесь является мысль, что не только в одних и тех же автонарративах одной и той же личности разные версии «я» выступают как герои, но прежде всего что может быть много самих «виртуальных нарраторов», хотя личность автора при этом остается той же самой.

Видение «я» как полифонической структуры открывает ряд теоретических возможностей, которые, надо полагать, Hermans не использовал в полной мере в анализе своего конкретного исследовательского материала (por. Hermans, Hermans-Jansen [36]). Содержание, касающееся перипетий героя, который в этом подходе отождествляется с субъектным «я» его автора, является тем, что непосредственно доступно в равной мере сознанию субъекта и исследователю автонарратива. В тени остается фигура нарратора,

свойства которого могут быть отличны от черт героя и которые также можно реконструировать на основании анализа нарратива. И это следует, очевидно, сделать, так как именно нарратор, а не герой, является в нарративе действительным действующим лицом, и его точка зрения, убеждения и стремления формируют динамику действия и суждения о судьбе героя. Различение героя повествования и нарратора можно отнести к интенсивно исследуемому в последнее время в познавательном подходе различию между явным и скрытым познанием [31]. Содержащаяся в автонарративе характеристика героя открыта для явного в этот момент самосознания индивида, зато свойства нарратора нигде в нарративе не описаны прямо, но они обнаруживают себя в способе, каким он сконструирован, и это позволяет сделать выводы о скрытом знании на тему личности и в целом мира, в котором герою пришлось действовать. Например, если в автонарративе определенной личности герой охарактеризован как оптимист, но повествование развивается таким способом, что герою на каждом шагу не везет, то нарратор, очевидно, является пессимистом и об этом пессимизме можно узнать по скрытой составляющей самосознания личности, явно представленной оптимистом. Возможности, которые открывает этот теоретический подход, оказались практически нащупанными психотерапевтами. В нарративной терапии это привело к апелляции к автору высказывания, в частности, в гештальт-подходе, в процессуально ориентированной терапии часто задаются вопросы: «Кто говорит?» и «Кому говорит?». Нередко случается так, что изменений у клиентов удастся добиться после преодоления безрефлексивной перспективы, наладив диалог с доминирующими субъектными позициями.

Субъектные позиции существуют в мышлении латентно и актуализируются в конкретных ситуациях иногда чаще одного раза. В описании Hermans(a) «я» субъекта в ходе внутреннего диалога прибегает к разным позициям. В реальных диалогах с другими индивид всегда прибегает к какой-нибудь субъектной позиции и может ее изменять, приспособляя к развитию интеракции.

3.4.3. ОНТОГЕНЕЗ ДИАЛОГИЧЕСКОГО «Я»

Откуда берутся разные субъектные позиции в диалогическом «я»? Harré утверждает, что они «продуцируются» дискурсом [16]. Люди приобретают действительные убеждения о себе, участвуя в переговорах. Разговаривая и действуя, субъект всегда осуществляет

это в определенной позиции – в этом Harré вполне согласен с Бахтиным. Эта позиция «предлагается» существующим дискурсом и дискурсивной практикой. Приняв определенную субъектную позицию как собственную, данная личность начинает воспринимать мир с точки зрения этой позиции и трактовать его с помощью воображения, метафор и рассказов, специфичных для данной дискурсивной практики. Следовательно, утверждение в данной позиции является действительным (в данный момент) способом существования, который может постепенно укрепляться. Harré разделяет взгляд, согласно которому проблему самотождественности надлежит описывать в категориях множественности, не забывая, однако, что это одна и та же личность осознает и выражает себя разными способами в рамках разных дискурсивных практик. Человеческие существа характеризует как непрерывное самоощущение, так и прерывная разнородность идентичности. Множественность дискурсивных «я», согласно Harré, сходна с панорамой разных *Me Mead(a)*, возникающих в потоке интеракции в разговоре. Онтогенез множественности «я», описанный кратко Harré, основывается на постепенном утверждении и эмоциональной акцептации тех позиций, в которых в процессе дискурсивных практик личность была определена другими и самой собой. Определение является тем ключевым процессом, действием которого в дискурсе продуцируются разные «я».

Больше внимания онтогенезу диалогического «я» уделил Hermans [38]. Как и все представители дискурсивного подхода, он усматривает его истоки прежде всего в социализации и подчеркивает, что уже со времени рождения ребенок вступает в интеракцию с матерью и через нее участвует в диалоговых социально-культурных формах поведения. Дети более старшего возраста начинают участвовать в диалогических интеракциях, в которых различные репрезентации социальности (семья, ближайшие родственники, учителя, ровесники) побуждают их к приспособлению к ситуациям в определенных специфических позициях (ребенка, ученика, товарища). И более того, они обращаются к ребенку не нейтральным, а одобряющим или неодобряющим образом: он бывает либо «грешным», либо «безгрешным» ребенком; учеником «прилежным» либо ленивым; приятелем, на которого можно или нельзя положиться, и т. д. Выводы Hermans(a) можно дополнить данными исследований упомянутого здесь ранее Ochs(a) [65], в которых приводились примеры нарративного конструирования идентичности

посредством согласования ролей в совместном создании рассказа (например, неодинаковое право взрослых и детей в постановке под вопрос сюжетов других участников дискурса), а также описанных Harré, о чем уже говорилось, процессов принятия позиций, определенных посредством различных нарративных фабул. Эти разные роли и позиции используются ребенком для конструирования концепции себя в автонарративах и побуждают их к формированию таких, а не иных субъектных позиций в диалогическом «я».

Диалогическое «я» не является, однако, свободным собранием значимых субъектных позиций индивида, но структурой, в которой отдельные позиции организованы в определенную целостность. Как происходит это упорядочение? Hermans подчеркивает, что в диалогических интеракциях всегда существует определенное напряжение между сменяющимися доминантами, а отношение между участниками бывает более или менее симметричным. Изменяются, как минимум, четыре разные аспекта коммуникативной доминанции: интерактивная (касающаяся структур разговора типа инициатива-рассказ), тематическая (где только одна из сторон вводит новые темы и принимает решение об их поддержке), количественная (где только одна из сторон говорит свободно и много, а вторая ограничивается высказываниями типа «да» и «нет») и стратегическая (где высказывания одной из сторон имеют больший вес и существенно влияют на течение процесса разговора в целом).

Все эти аспекты доминанции стремятся использовать взрослые в интеракциях с менее компетентными в этой сфере детьми. В целом взрослым легко «украсть» детскую очередь в разговорном порядке, отобрав голос, переформулировав или поправив высказывание ребенка. В эмпирическом исследовании, касающемся педиатрической консультации, Aronsson и Rundström (см: [38]) зафиксировали, что родители привычно выступают в роли «спикеров» своих детей (в возрасте от 5 до 15 лет). Например, когда врач напрямую обращается прямо к ребенку, мамы отнимают у детей голос и говорят сами или высказываются непосредственно после ребенка, усиливая его сообщение, либо объясняя, что ребенок имел в виду, будучи убежденными, что сам ребенок не в состоянии выразить адекватно свои мысли. Похожим примером разговорного доминирования может выступить приведенный выше анализ разного вклада отдельных участников в процесс совместного создания нарратива [25; 26; 65; 83].

Другой аспект разговорного доминирования содержится в используемых участниками дискурсов как социальных способах употребления языка. Hermans ссылается на работы Wertsch(a) [89] и его тезис о том, что в высказываниях и мышлении единичной личности всегда есть как ее собственный голос, так и голоса реальных групп или институтов, которые могут более или менее доминировать в актах ее речи. Например, люди, воспитанные на принципах определенной религии, могут в своих частных взглядах на мир использовать характерные способы структурирования и придания смысла опыту. Как известно, религии отличаются друг от друга уровнем свободы, который предлагают своим приверженцам. В крайнем случае, голос индивидуальной личности может в ее собственном мышлении быть полностью подчиненным голосу религиозного авторитета. В общем, частное видение мира и себя как данной личности может быть более или менее подчинено голосу группы, к которой эта личность принадлежит (религиозной, социально-экономической, политической, выражающей этническое происхождение или воспитание и т. п. категории).

Что следует из сказанного выше для диалогического «я»? Поскольку оно создается в социальных интеракциях, поскольку люди в значительной степени определяют себя через других, то отношения власти и подчинения вписаны в диалогическую трансмиссию с другими, как на межличностном, так и на макросоциальном уровне и должны каким-то способом влиять на структуры «я». Hermans считает, что это влияние основывается на организации возможной множественности субъектных позиций, а также на модификации способов их организации. Среди субъектных позиций в полифоническом «я» есть такие, которые функционируют главным образом во внешнем мире (например, родители, члены семьи, друзья, учителя, коллеги, соседи, враги), а также такие, которые принадлежат прежде всего внутреннему миру индивида (например, любовные фантазии, утраченные родители, мудрые советчики, критики и т. п.). Внешний мир и внутренний мир функционируют как открытые системы, между которыми осуществляется интенсивная транзактная связь. Существующие во внешнем мире доминантные отношения переносятся в мир внутренний. Из этого следует, что возможное множество воображаемых субъектных позиций не только оказывается структурированным определенным образом, но и организованным в процессе институционализации (семье, школе,

костеле, армии). Некоторые среди возможных позиций оказываются оформленными, другие диффузными и даже отчужденными. В зависимости от уровня и силы доминирования в диалогических отношениях некоторые позиции хорошо развиваются, другие оказываются подавленными или исчезают.

Дискурсивная психология предлагает собственный способ понимания события исчезновения. Концепция диалогической неосознанности (dialogic unconscious [9]) является хорошей иллюстрацией того, как оригинально и в то же время просто и точно объясняют эмпирические данные идеи дискурсивных психологов. Таким образом, хотя в наших выводах эта тема входит в состав более широкой проблемы онтогенеза диалогического «я», уделим ей немного внимания в следующем разделе.

3.4.4. ДИАЛОГИЧЕСКОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ

Как пишет Billig [9], дискурсивная психология переворачивает человека «вверх ногами», показывает психическую жизнь как социальное явление, реализующееся в переговорах. Эта тенденция определенно противоположна психоанализу, который стремился представить социальную жизнь как поверхность внутренних мотивационных процессов. Эта разность может дать шанс для прояснения некоторых событий, которые в психоаналитическом подходе окончательного прояснения не нашли. Billig [8] «кладет на верстак» бессознательное и ключевое для него понятие «вытеснение», которое для Фрейда, как он сам в этом признавался, до конца оставалось таинственным. Эту внутреннюю противоречивость, состоящую в том, что *эго* каким-то образом знает о вытесняемых содержаниях и их угрожающем характере, для того, чтобы принять решение об активизации защитного вытеснения, пробовали решить в современных подходах, целиком принимающих иные, нежели психоанализ, исходные положения. Одной из таких известных попыток является концепция самообмана Greenwald(a), основывающаяся на идее существования в сознании разных инстанций переработки информации [29].

Billig подходит к этой проблеме иначе, обнаруживая генезис бессознательного в дискурсивных процессах. Свою аргументацию он начинает с привлечения собственных исследований, в которых показано, каким образом собеседники воспроизводят нормативные

структуры, создавая возможность развития разговора. Например, люди ведут себя так, как будто их обязывает правило «преференции согласия»: значительно легче, охотней и чаще соглашаются с собеседниками, чем не соглашаются. В свою очередь, практикуя предупредительность (*doing politeness*), люди не формулируют, следовательно, и не обращаются к рассказам, которые могли бы угрожать разговору. Автор утверждает, что, задавая вопросы, собеседники часто жертвуют вполне возможными повествованиями и усиливают таким способом приятную атмосферу сотрудничества. Существует также речевой механизм передачи голоса (*turn-taking*), который предписывает очередность высказываний и исключение сложных правил, регулирующих первенство говорения, что также придает разговору характер сотрудничества и качество согласия.

Как известно, разговор не совершенен. Случаются и нарушения правил, «бестактности», фальстарты и им подобное. Существуют, однако, инструменты «самокорректировки» (*self-repair*) разговора, придания ему плавного, гладкого течения вопреки нарушениям. Например, когда кто-нибудь совершает бестактность, то после мгновенной паузы автор бестактности говорит что-то, что изменяет смысл его первого высказывания, и, как правило, всякий собеседник принимает такое объяснение, даже если оно очевидно не соответствует тому, что собственно хотел сказать его партнер в начале разговора. Собеседники заинтересованы в продолжении разговора и, следовательно, принимают за чистую монету какую-нибудь интерпретацию, которая позволяет им игнорировать нарушение начального высказывания.

Это касается не только изучения этикетных правил, утверждает Billig. Исследования такого типа демонстрируют, как в интеракциях производится социальный порядок. Разговорные коды предупредительности являются кодами практической морали. Обучаясь, например, структуре делегирования голоса (ожиданию своей очереди в разговоре, правилам первенства и т. п.), вместе с ними мы воспринимаем и общий моральный код, который, хоть и не требует развернутой теории и не должен быть для индивида сознательным, управляет действительным человеческим порядком.

Нормативные структуры разговора строго организуют поведение собеседников: они воздерживаются от спонтанных высказываний и ожидают своей очереди, не выражают прямо многие свои мысли, стараются не отказывать и т. д. Это можно понять не только как

практику вежливости, но и как совместное удерживание под контролем бестактности или разговорной аморальности. Следует также заметить, что освоение этого процесса невозможно одним участником без другого. Обучаясь практике тактичности, человек одновременно учится тому, как можно быть бестактным. Присваивая понятие тактичности, мы при этом как бы «теряем невинность», вызываем к существованию мысленный образ бестактности, который может стать чем-то психологически реальным, побуждающим нас всегда держать себя в руках. Отчего нас смешат шутки: они повествуют о том, что запрещает разговорная мораль. Слыша остроты, мы распознаем, что это именно «это», за рамками конвенции шутки «это» не может существовать. Присваивая разговорные правила, люди также обучаются тому, как совместно избегать: избегать существования того, что разговорно аморально, а если все же произошло, то избегать распознавания того, что это произошло. Есть так сказать своего рода «списки» для организации коллективного отказа от познания, т. е. собранные, вписанные в разговор структуры вытеснения.

Если привлечем теперь выводимое из Выготского положение о том, что мышление есть внутренний язык, то генез вытеснения как явления психологического начинает прорисовываться довольно четко. Коль скоро язык-в-употреблении, язык вкупе с разговорными структурами основывается на репрессии, то обучаясь его употреблять, ребенок получает уроки вытеснения. Набираясь умений в использовании предписаний дискурсивной тактичности, ребенок вместе с этим учится тому, как избегать щекотливых тем, обращать угрожающие утверждения в шутку, преобразовывать невыгодные значения в иные, подходящие значения и т. д. Вежливый разговор предполагает модели индивидуального вытеснения также, как и аргументация в дискуссиях – модели для внутренней делиберализации. Эти же процессы могут быть использованы как в разговорах, так и во внутренних диалогах, и именно так может возникать диалогическое бессознательное, действием которого определенная субъектная позиция может в рамках данного дискурса оказаться жестко подавленной.

Как следует из представленных выше суждений на тему генеза диалогического «я», не только субъектная позиция входит в состав полифоничной структуры, «я» может быть разнородным, но и способ организации этой структуры, который может существенно

отличаться в связи с индивидуальными различиями. И, следовательно, не всякие способы организации субъектных позиций равно функциональны и в равной степени способствуют развитию личности.

3.4.5. «Внутренняя демократия» как диалоговый образец психического здоровья

Диалогическая концепция позволяет по-новому взглянуть на вопросы умственного развития личности и даже психического здоровья. Hermans описывает двух женщин, рассказы которых могут быть хорошей иллюстрацией полифоничности «я» [36; 39]. Эти женщины обнаружили присутствие в себе внутренних иных «личностей» и могли их без труда описать. Первая из них, Kathy, участвовала в исследовательском проекте Hermans(a), посвященном многоголосью, так как хотела побольше узнать о воображаемой фигуре «Проводницы», которая, по ее словам, дружила с ней еще с детства и помогала найти собственный путь в жизни. Другая женщина, Mary, имевшая множество сложных проблем, надеялась найти психотерапевтическую помощь, поскольку у нее случались приступы агрессии в отношении мужа, в которых она теряла над собой контроль. В таких случаях она ощущала себя не собой, а «Колдуньей», которая ею распоряжалась. В процессе длительной исследовательской процедуры (в случае Kathy) и психотерапевтической (в случае Mary) выяснилось, что отличало ситуации этих двух женщин – способность к диалогу их «привычной» личности с воображаемой фигурой. Kathy и Проводница были взаимно заинтересованы друг другом и склонны к изменениям, тогда как Mary и Колдунья испытывали друг к другу страх и каждая из них прилагала усилия к тому, чтобы сохранить за собой контроль над поведением и не допустить голоса соперницы (более подробное описание в работе: Hermans, Hermans-Jansen [36, с. 229–238].

На примере своих исследований двух женщин Hermans выясняет разницу между функционированием многоголосья и дисфункциональной фрагментацией личности: личностное нарушение касается монологов, нет нарушений там, где существует диалог. Парадоксально, в MPD (*multiple personality disorder*) и DID (*Dissociative Identity Disorder*) в каждый конкретный момент времени актуальна только одна личность, а не несколько. Эта актуальная личность

доминирует в данный момент времени, сохраняя полный контроль над поведением и мышлением данного индивида. Когда через определенное время проявляется другая личность, то она в свою очередь обретает полный контроль, и таким образом разные личности появляются линейно и последовательно как два (или более) независимых непрерывных монолога. То, что позволяет судить о дисфункциональном, патологическом характере процесса, является нарушением отношения между разными субличностями, нарушением связи вопросов и ответов, согласия и несогласия, нарушением какого-либо самоотношения этих внутренних инстанций. Отдельно эти субличности могут говорить друг о друге, но не друг с другом. Например, в известном случае Ewy в Трех Обличьях фривольная Ewa Czarna радостно злословила о сдержанной Ewie Białej: «Когда идет куда-нибудь и напивается там, то на следующий день страдает от похмелья» (Thigpen, Clecky, cyt. za Hermans [39, с. 122]).

Зато «нормальное», и даже содействующее равновесию и развитию, многоголосье «я» основывается на способности отдельных субъектных позиций к вступлению в диалог с другими позициями, диалогу, в котором их субъективные точки зрения, ценности, переживания становятся известны другим позициям, благодаря чему становится возможным внутреннее «обсуждение» и действие, избранное в итоге личностью. Лучшим примером таких переговоров может быть известная сцена из *«Скрипки на крыше»*, в которой Tewje планирует замужество двух очередных своих дочек и попеременно рассматривает возможные перспективы восприятия и оценки этих намерений («Но, с другой стороны...»). В свете диалогического подхода оказывается, и это парадоксально, что психическое здоровье основывается не на единстве личности, но на множественности, на разнородности, способной к диалогу. Подобные идеи формулируются сегодня и в других теоретических подходах (см. обзор в: Trzebińska [98, с. 241–250]).

Так выделяется новый общий взгляд на психическое здоровье. В сознании сосуществует множество голосов, а дискурсивное «я» имеет полифоническую природу. Иначе и не может быть, коль скоро социализация, особенно современная, осуществляется в разнородном, многокультурном мире, является очень сложным процессом, позволяющим участвовать в различных дискурсивных практиках, и каждая из них может стать основанием для развития во внутреннем мире определенной субъектной позиции. Вид этих позиций, их

число и уровень развития каждой из них очевидно индивидуально изменчив, но не только они определяют уникальность и субъектность личности. Как это хорошо показал Hermans своей метафорой концерта, личность можно сравнить с полифоничностью музыкального произведения: отдельные субъектные позиции «играют» каждая свою музыкальную партию, а в их совместных созвучиях и диссонансах проявляется неповторимая целостность. Именно так выглядит личность индивида в дискурсивном подходе: это структура, которая создается упомянутыми выше отдельными субъектными позициями как сложный образ, организующий существующие между ними «пространственные» отношения, а также «мелодию», развивающуюся во времени. Эти отношения состоят в диалогах между отдельными субъектными позициями, следовательно, ключевой является их способность к такому диалогу. В таких диалогах личность может выйти за пределы односторонней точки зрения, вписанной в единственную перспективу данной субъектной позиции, сформированной в процессах социализации, и прийти к открытию или конструированию новых значений, к творческой реализации собственной индивидуальности.

Видение единой, внутренне монолитной личности с ясно определенной единственной идентичностью является, согласно дискурсивным психологам, особой конструкцией или просто культурным мифом. Переходя от одного дискурса к другому, принимая разные доступные в их рамках положения, люди изменяют способы мышления о себе. Каждое из таких возможных «я» (*possible selves*) может быть противопоставленным или даже конфликтным по отношению к иному «я», причисленному к иному нарративному сюжету. Как прежний опыт, так и концепции людей самих себя могут быть разделены до тех пор, пока не окажутся включенными в единое повествование. А так как повествований всегда может быть много, даже по поводу одного и того же события, то каждый из нас имеет множество взаимно несогласованных «я».

Однако концепция личности как таковой, будучи реальной культурной конструкцией (por. Markus, Kitayama [56]), ограничивается в нашем культурном ареале формой единичной познавательной идентичности. Отсюда, как пишет Harré [34], мы склонны предполагать возможность снятия спорности или непостоянства между нашим переживанием себя в разных позициях и разных дискурсах. И мы действительно сражаемся с разнородностью опыта, стремясь

создать рассказ о себе, который бы был монолитен и связан. Если мы этого не делаем, то другие требуют этого от нас.

Целостная связанность и единство должно, однако, остаться только культурным идеалом либо просто мифом. Если бы этого можно было достичь, то только за счет утверждения какого-нибудь вида внутреннего насилия. Развивая известную метафору Greenwald(a), сравнивавшего «я» с идеологом в тоталитарном государстве [30], мы можем думать о многоголосом «я» как о плюралистическом сообществе. В то же время мифическая монолитность личности¹¹⁶ оказывается «тоталитарным режимом» одной из субъектных позиций по отношению к остальным.

Нарушения, связанные с фрагментацией личности, есть не что иное, как удержание в себе в течение определенного времени такого «тоталитарного режима». Он заканчивается «переворотом», а в результате «переворота» к голосу приходит другой «диктатор» и в свою очередь устанавливает «абсолютный режим» до новой «революции». Вытекающий из этого рецепт здоровья и равновесия такой же в случае индивидуального сознания, как и в случае сообществ: плюрализм, демократия и неустанная готовность всех сторон к диалогу. Идеал «внутренней демократии» находит свое выражение в практической психологической работе (этим занимается направление диалогической, нарративной и деконструктивной терапии, *por. Watkins, McLeod, Parker* [88; 61; 66]). Их рекомендации имеют общий характер, как для ситуаций, в которых целью является лечение нарушений дисоциального типа, так и тех, где личность ничего не беспокоит и она стремится развивать себя в сторону большей гармонии и повышения своих творческих возможностей. В обоих случаях работа должна измеряться усилением и расширением внутреннего диалога личности, чего можно достичь благодаря распознаванию субъектных позиций, которые у нее сейчас есть, деконструкции нарративов, созданных доминирующим голосом («хронические личности»), но прежде всего благодаря обретению дара голоса и обращения к диалоговому обмену разных субъектных позиций, которые до этого времени оставались в тени и не могли внести свой вклад в полифоническую «симфонию» личности.

¹¹⁶ Greenwald «расправляется» с этой идеей в другом своем тексте, уже самим названием проблематизирующим «принцип внутреннего единства личности» [28].

ВЫВОДЫ

Что новое вносит нарративный подход в сравнении с более классическим способом мышления об идентичности? Он предлагает новые способы концептуализации, обещающие возможности решения известных проблем, но в еще большем объеме инспирирует, часто интенционально, постановку новых вопросов. Определенно еще не время подведения общих итогов деятельности этого относительно молодого течения, на что не был уполномочен и этот достаточно скромный нынешний обзор. В заключение напомним только несколько избранных идей, которые, возможно, оказались недостаточно подчеркнутыми в данном тексте, но представляются мне характерными и достойными внимания для презентации этого подхода.

Нарративные категории позволяют описывать идентичность как процесс, а не только как структуру. Это касается всех описанных ранее теоретических взглядов, хотя очевидно, что специфика каждого из них производит акцентирование других аспектов данного процесса. Специфическое качество нарратива – его развитие во времени – дает этой форме структурирования знания исключительную способность соответствия реальному человеческому опыту. К тому же нарративная идентичность может иметь очень тесные отношения с происходящим время от времени процессом интерпретации опыта, приданием ему значения, а также с планированием и контролем собственных действий. Неслучайно в отношении этой формы репрезентации распространено суждение, что определение «переживаемый нарратив» не позволяет подобным способом мыслить в других, ненарративных познавательных схемах, понятиях или даже позициях. Познавательно ориентированные психологи отмечают продуктивность использования конструкта нарративной идентичности в вызывающих последнее время все большую заинтересованность исследованиях феноменологических и процессуальных аспектов человеческого мышления и деятельности. К тому же нарратив является давней культурной формой, используемой различными сообществами для упорядочивания разных исходных истин и ценностей. Нарративную идентичность можно, следовательно, рассматривать и как процесс выявления личного содержания общих образцов, заимствованных из коллективного культурного репертуара. И более того, этот процесс не приводит к социальной изоляции. Анализ дискурса убеждает, что самотождественность индивида не зависит только от индивидуального опыта, убеждений

и выборов и даже от его принадлежности к разным социальным группам. Нарративная самотождественность, создаваемая индивидом, требует социальной «валидации» посредством участия других в дискурсивном соконструировании автонарратива. Это процесс многоаспектный, в котором столь же значим непосредственный межличностный контекст, как и социальный порядок, продуцированный дискурсивными структурами и укорененный в культуре повествования. Исследования социальных конструкционистов могут внушить некоторый пессимизм: субъектность и индивидуальность личности оказываются существенно ограниченными культурными образцами, что способно привести к возникновению «вымышленных историй», в которых важный личный опыт останется невыраженным. Концепция дискурсивной психологии, описывающая множественность культурно «сфабрикованных» и потенциально доступных индивиду «я», акцентирует возможность осуществления им сознательного выбора: отклонения определенных субъектных позиций, навязанных ему существующими дискурсами и принятия других. Это есть только возможность, распознавание которой является своего рода жизненным вызовом индивиду. Можно также принять за бесспорные определенные предписания, существующие в актуальных дискурсах (например, образ женщины, которая сопровождает мужчину в роли матери и жены), а можно и так контекстуализировать («женщине нужен мужчина как рыба зонтик»), либо творчески переопределить, используя в большей или меньшей степени основания иных дискурсов. «Средством» таких преобразований выступает бахтинский диалог, делающий возможным рассмотрение одних «преобразуемых» позиций из перспективы иных и обнаружение этим способом личных субъектных значений, которые не содержались ни в одной из них. На этой позиции – позиции многоголосого диалога – дискурсивная психология реститурует субъектность индивида. Это есть, как принято говорить, значимая теоретическая позиция в эпоху, когда глобализация, поликультурность и вездесущий диктат медиа придают особый, иногда жестокий тон вопросам индивида о собственной идентичности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. *Bachtin M. M. Problemy poetyki Dostojewskiego* / przeł. N. Modzelewska. Warszawa : PWN, 1970.
2. *Bachtin M. M. Dialog – język – literatura* / wybór E. Czapłajewicz, E. Kasperski. Warszawa : PWN, 1983.

5. *Barlett F.* Remembering: A study in experimental and social psychology. London : Cambridge University Press, 1932.
6. *Bell S. E.* Becomming a political woman: The reconstruction and interpretation of experience through stories // Gender and discourse: The power of talk / red. A. D. Todd, S. Fisher. Norwood : Ablex, 1988. P. 97–123.
7. *Berger A., Luckmann T.* Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa : PIW, 1983.
8. *Berger P., Niznik T. J.* Tożsamość jako problem socjologii wiedzy // Problemy socjologii wiedzy / red. A. Chmielewski, S. Czernik, J. Niznik. Warszawa : PWN, 1985. S. 478–489.
9. *Bertaux D., Kohli M.* The life story approach: A continental view // Annual Review of Sociology. 1984. Vol. 10. P. 215–237.
10. *Billig M.* Freud and Dora: repressing an oppressed identity [Electronic resource] : Virtual Faculty. Mode of access: <http://www.massey.ac.nz/~Alock/virtual/welcome.htm>. Date of access: 04.01.2006.
11. *Billig M.* The Dialogic unconscious: psychoanalysis, discursive psychology and the nature of repression [Electronic resource] : Virtual Faculty. Mode of access: <http://www.massey.ac.nz/~Alock/virtual/welcome.htm>. Date of access: 04.01.2006.
12. *Bruner J.* Ontogeneza aktów mowy // Badania nad rozwojem języka dziecka / red. G. Sugar, M. Smoczyńska. Warszawa : PWN, 1980.
13. *Bruner J. S.* Actual minds, possible words. Cambridge : Harvard University Press, 1986.
14. *Bruner J. S.* Życie jako narracja // Kwartalnik Pedagogiczny. 1990(a). Vol. 4. P. 3–17.
15. *Cialdini R.* Wywieranie wpływu na ludzi / Przeł. B. Wojciszke. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1996.
16. *Condor S., Antaki C.* Social cognition and discours // Discourse studies: A multidisciplinary introduction / red. Y. Van Dijk. London : Sage, 1997. T. 1. P. 320–347.
17. *Danieli Y.* Confronting the unimaginable: psychotherapist's reactions to victims of the Nazi Holocaust // Human adaptation to extreme stress: From the Holocaust to Vietnam / red. J. P. Wilson, Z. Harel, B. Kahana. N.Y. : Plenum Press, 1988. P. 219–238.
18. *Davies B., Harre R.* Positioning: the discursive production of selves // J. for the Theory of Social Behavior. 1990. Vol. 20. P. 43–63.
19. *Edwards D., Potter J.* Discursive psychology. London : Sage Publication, 1992.
20. *Epstein S.* Cognitive-experiential self-theory: An integrative theory of personality // The relational self. Theoretical convergences in psychoanalysis and social psychology / red. R. Curtis. N.Y. : the Guilford Press, 1991.
21. *Fuszara M.* Kobiety, sąd i sądenie // Wobec przemocy / red. D. Kubacka-Jasiecka, A. Lipowska-Teutsch. Kraków : Wydawnictwo ALL, 1997. T. 2. S. 59–74.
22. *Gergen K. J., Gergen M. M.* Narratives of the self // Studies in social identity / red. T. Sarbin i K. Scheibe. N.Y. : Praeger Press, 1983.

23. *Gergen K. J.* If persons are texts // *Hermeneutics and psychological theory: Interpretive perspectives on personality, psychotherapy and psychology* / S. B. Messer, L. A. Sass / red. R. L. Woolfolk. New Brunswick : Rutgers University Press, 1988. P. 28–51.
24. *Gergen K. J.* The social constructionist movement in modern psychology. *American Psychologist*. 1985. Vol 40. P. 266–275.
25. *Gergen, M. M., Gergen K. J.* Autobiographies and the shaping of gender lives // *Discourse and lifespan identity* // red. N. Coupland, J. F. Nussbaum. London : Sage Publications, 1993. P. 28–54.
26. *Ginsburg F.* Contested lives: The abortion debate in an American community. Berkley : University of California Press. 1989.
27. *Goodwin C.* Notes on story structure and the organization of participation // *Structures of social action* / red. M. Atkinson, J. Heritage. Cambridge : Cambridge University, 1984. P. 225–246.
28. *Goodwin M. H.* He-said-she-said: Talk as social organization among black children. Bloomington : Indiana University Press, 1990.
29. *Greenwald A. G., Pratkanis L.* Ja jako centralny schemat postaw // *Nowiny Psychologiczne*. 1988. Vol. 2. P. 20–70.
30. *Greenwald A. G.* Personaliza versus zasada wewnętrznej jedności osoby // *Przegląd Psychologiczny*. 1985. № 4. P. 887–919.
31. *Greenwald A. G.* Samowiedza i samooszukiwanie // *Przegląd Psychologiczny*. 1986. № 2. P. 291–303.
32. *Greenwald A. G.* Totalitarian ego. Fabrication and revision of personal history // *American Psychologist*. 1980. № 35. P. 603–618.
33. *Greenwald A. G., Banaji M. R.* Utażone poznanie społeczne: postawy, wartościowanie siebie i stereotypy // *Przegląd Psychologiczny*. 1995/96. № 112. P. 11–63.
34. *Harber K. D., Pennebaker J. W.* Overcoming traumatic memories / red. S. Christianson // *The handbook of emotion and memory: Research and theory*. Hillsdale : Lawrence Erlbaum, 1992. P. 359–387.
35. *Harre R.* The rediscovery of the human mind [Electronic resource] : Virtual Faculty. Mode of access: <http://www.massey.ac.nz/~Alock/virtual/welcome.htm>. Date of access: 04.01.2006.
36. *Harre R., Langenhove L.* Varieties of positioning // *J. for the Theory of Social Behaviour*. 1991. № 21. P. 393–407.
37. *Herman J. L.* *Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi* / przeł. A. M. Kacmajor. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1999.
38. *Hermans H. J., Hermans-Jansen E. M.* *Autonarracje. Tworzenie znaczeń w psychoterapii*. Warszawa : Pracownia testów psychologicznych PTP, 2000.
39. *Hermans H. J., Kempen H. J. G., Van Loon R. J. P. M.* The dialogical self. Beyond individualism and rationalism // *American Psychologist*. 1992. Vol. 47. P. 23–33.
40. *Hermans, H. J., Kempen H. J. G. M.* The dialogical self. Meaning as movement. San Diego : Academic Press, 1993.

41. *Hermans H. J. M.* The polyphony of the mind: A multivoiced and dialogical self // The plural self. Multiplicity in everyday life / red. J. Rowan, M. Cooper. London : Sage Publications, 1999.
42. *Hermans H. J. M.* Voicing the self: from information processing to dialogical interchange / *Psychological Bulletin*. 1996. Vol. 119. P.31–50.
43. *Jarymowicz M.* Psychologia tożsamości / red. J. Strelau. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. T. 3 : Psychologia. Podrecznik akademicki, 2000. S. 107–125.
44. *Jarymowicz M.* W stronę indywidualnej podmiotowości i zbliżeń z innymi: podr społecznych identyfikacji // Poza egocentryczną persp siebie i świata. Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, 1994.
45. *Kofta M., Doliński D.* Poznawcze podejście do osobowości // Psychologia. Podrecznik akademicki / red. J. Strelau. Gdansk : Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne. 2000. T. 2. S. 561–600.
46. *Kofta M., Toeplitz-Winiewska M., Hilchen K.* Studium przypadku osobowości agresywnej: Marek // Kliniczne studia przypadków / red. M. Sokolik. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1991.
47. *Kofta M.* Złudzenia, które pozwalają żyć. Szkice z psychologii społecznej / red. T. Szustrowa. Warszawa : PWN, 1991.
48. *Kozielecki J.* Psychologiczna teoria samowiedzy. Wyd. 2. Warszawa : PWN, 1986.
49. *Kurcz I.* Język i komunikacja / red. J. Strelau // Psychologia. Podrecznik akademicki. Gdansk : Wydawnictwo Psychologiczne, 2000. T. 2. S. 231–274.
50. *Labov W., Waletzky J.* Narrative analysis: Oral versions of personal experience // Essays on the verbal and visual arts / red. J. Helm. Seattle : University of Washington Press, 1967. P. 12–44.
51. *Labov W.* Speech actions and reactions in personal narrative // Analysing discourse : text and talk / red. D. Tannen. Washington : Georgetown University Press, 1982. P. 219–247.
52. *Levin H.* The Quixote principle // The interpretation of narrative: Theory and practice. Harvard English Studies / red. M. W Bloomfield. Cambridge : Harvard University Press, 1970. T. 1. P. 45–66.
53. *Lipowska-Teutsch A.* Przemoc wobec kobiet // Wobec przemocy / red. D. Kubacka-Jasiecka, A. Lipowska-Teutsch. Kraków : Wydawnictwo ALL, 1997. T. 2. S. 11–44.
54. *Lock A.* Against cognitivism: the discursive construction of cognitive mechanisms [Electronic resource] : Virtual Faculty. Mode of access: <http://www.massey.ac.nz/~Alock/virtual/welcome.htm>. Date of access: 04.01.2006.
55. *Mancuso J.* The self-narrative in the enactment of roles / red. T. R. Sarbin // Studies in social identity. N.Y. : Praeger Press, 1983. P. 64–90.
56. *Mancuso J.* The self-narrative in the enactment of roles // Studies in social identity. Scheibe. N.Y. : Praeger Press, P. 64–90.
57. *Markus H., Nurius P.* Possible selves // *American Psychologist*. 1986. Vol. 41. P. 954–969.

58. *Markus H., Kitayama S.* Culture and the self: implications for cognition, emotion and motivation // *Psychological Review*. 1991. Vol. 98, № 2. P. 224–253.
59. *Markus H.* Self-schemata and processing information about the self // *J. of Personality and Social Psychology*. 1977. Vol. 35. P. 63–78.
60. *Markus H., Wurf E.* The dynamic self-concept: A social psychological perspective // *Annual Review of Psychology*. 1987. Vol. 38. P. 299–337.
61. *McAdams D. P.* Psychobiography and life narratives / red. R. L. Ochberg. *J. of Personality*. 1988. Vol. 56, № 1. P. 1–18.
62. *McAdams D.* Power, intimacy and the life story. *Personological inquiries into identity*. Homewood ; Illinois : The Dorsey Press, 1985.
63. *McLeod J.* Narrative and psychotherapy. London : Sage, 1997.
64. *McNamee S.* Therapy as social construction / red. K. J. Gergen. London : Sage Publications, 1992.
65. *Michotte A.* The perception of causality. London : Methuen, 1943/1963.
66. *Mumby D. K., Clair R. P.* Organizational discourse // *Discourse studies: A multidisciplinary introduction* / red. T. Van Dijk. London : Sage Publications, 1997. T. 2. P. 181–205.
67. *Ochs E.* Narrative // *Discourse studies: A multidisciplinary introduction* / red. T. Van Dijk. London : Sage Publications, 1997. T. 1. P. 185–207.
68. *Parker I.* Deconstructing psychotherapy. London : Sage Publications, 1999.
69. *Pennebaker J.* Opening up. N.Y. : Morrow, 1990.
70. *Pennebaker J. W.* Social mechanisms of constraint // *Handbook of mental control* / red.: D. W. Wegner, J. W. Pennebaker. Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1993. P. 200–219.
71. *Rennie D. L.* Storytelling in psychotherapy: the client's subjective experience // *Psychotherapy*. 1994. Vol. 31. P. 234–243.
72. *Riessman C. K.* Beyond reductionism: Narrative genres in divorce accounts // *J. of Narrative and life History*. 1991. Vol. 1, № 1. P. 41–68.
73. *Riessman C. K.* Strategie uses of narrative in the presentation of self and illness // *Social Science and medicine*. 1990. Vol. 30, № 11. P. 1195–1200.
74. *Riessman C. K.* Narrative analysis. London : Sage Publications, 1993.
75. *Rogers C.* On becoming a person. Boston : Houghton Mifflin Company, 1961.
76. *Rowan J.* The plural self. Multiplicity in everyday life / red. M. Cooper. London : Sage Publication, 1999.
77. *Sarbin T.* The narrative quality of action // *Theoretical and Philosophical Psychology*. 1990. Vol. 10. P. 49–65.
78. *Sarbin T.* Narrative psychology. The storied nature of human conduct / red. T. Sabin. N.Y. : Praeger Press, 1986.
79. *Schutz A.* Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania // *Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej* / red. E. Mokrzycki. Warszawa : PIW, 1984.
80. *Shotter J.* Life inside dialogically structured mentalities: Bakhtin's and Voloshinov's account of our mental activities as out in the world between us // *The plural self. Multiplicity in everyday life* / red. J. Rowan, M. Cooper. London : Sage Publications, 1999.

81. *Stemplewska-Żakowicz K.* Umysł dyskursywny. Propozycje teoretyczne podejścia dyskursywnego w psychologii // *Pomiędzy biologią a kulturą: język narodowy, dyskurs, media* / red. I. Kurcz i J. Bobiuk. Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

82. *Stemplewska-Żakowicz K.* Wpływ kulturowych wzorców narracyjnych na poznawczą reprezentację rzeczywistości społecznej i osobistych doświadczeń społecznych // *Percepcja i interpretacja społecznej i politycznej sytuacji w Polsce* / red. I. Kurcz, J. Bobiuk. Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, 1997. S. 113–207.

83. *Stemplewska-Żakowicz K.* Koncepcje narracyjnej tożsamości. Od historii życia do dialogowego „ja” // *Narracja jako sposób rozumienia świata* / red. J. Trzebiński. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002. S. 82–113.

84. *Talbot J., Bibace R., Bokhour B., Bamberg M.* Affirmation and resistance of dominant: The rhetorical construction of pregnancy [Electronic resource] : Virtual Faculty. Mode of access: <http://www.massey.ac.nz/~Allock/virtual/welcome.htm>. Date of access: 04.01.2006.

85. *Taylor S.* ‘You think it was a fight?’ Co-constructing (the struggle for) meaning, face and family in everyday narrative activity // *Research on Language and Social Interaction*. 1995. Vol. 3. P. 283–317.

86. *Trzebińska E.* Dwa wizerunki własnej osoby. Studia nad sposobami rozumienia siebie. Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, 1998.

87. *Trzebiński J.* Narrative formy wiedzy potocznej. Poznań : Wyd. Nakom, 1992.

88. *Trzebiński J.* Self-narratives as sources of motivation // *Psychology of Language and Communication*. 1997. Vol. 2. P. 13–22.

89. *Van Dijk T.* Discourse studies: A multidisciplinary introduction / red. T. Van Dijk. London : Sage Publications, 1997. T. 1. P. 1–34.

90. *Watkins M.* Pathways between the multiplicities of the psyche and culture: The development of dialogical capacities // *The plural self. Multiplicity in everyday life* / red.: J. Rowan, M. Cooper. London : Sage Publications, 1999.

91. *Wertsch J. V.* Voices of the mind. A sociocultural approach to mediated action. Garvard : Cambridge Mass., 1991.

92. *White Ch., Epston D.* Narrative Means to Therapeutic Ends. N.Y. ; London : W. Norton CO, 1990.

93. *Wygotski L. S.* Myślenie i mowa / tłum. E. Fleszerowa, J. Fleszner. Warszawa : PWN, 1989.

94. *Wygotski L. S.* Narzędzie i znak w rozwoju dziecka. Warszawa : PWN, 1978.